

*Исторические
Авантюры*

Леонид Бежин

СМЕРТЬ
И ВОСКРЕСЕНИЕ
ЦАРЯ
АЛЕКСАНДРА I



Леонид Евгеньевич Бежин
Смерть и воскресение царя Александра I
Серия «Исторические авантюры»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6371137
Леонид Бежин. Смерть и воскресение царя Александра I: Алгоритм; Москва; 2011
ISBN 978-5-6995-1046-7

Аннотация

В 1825 г. во время путешествия к Черному морю скончался Всероссийский император Александр I Благословенный, победитель Наполеона, участник заговора против родного отца, убиенного Государя Павла I. Через всю страну везли гроб с телом царя. Толпы народа оплакивали своего монарха. Но когда много лет спустя царскую усыпальницу вскрыли, она оказалась пуста. Народная молва считает, что раскаявшийся император оставил престол и простым бродягой ушел искупать свои грехи.

А через несколько лет в Сибири появился старец Федор Кузьмич, как две капли воды похожий на умершего царя. Народ почитал его как святого еще при жизни, а Церковь канонизировала после смерти. Но был ли он в прошлом Императором Всероссийским? Об этом старец умолчал.

Разгадать эту тайну пытается автор.

Содержание

Часть первая	4
Глава первая	4
Глава вторая	9
Глава третья	13
Глава четвертая	17
Глава пятая	22
Глава шестая	26
Глава седьмая	31
Глава восьмая	35
Глава девятая	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Леонид Бежин

Смерть и воскресение царя Александра I

Часть первая

Глава первая Уход и самозванство

Не умер, а ушел...

За этими словами скрывается не только одна из самых таинственных, влекущих и завораживающих загадок русской истории – загадка смерти императора Александра I, – но и прообраз многих духовных драм, воплощенных как в отечественной классике (достаточно вспомнить «Живой труп»), так и в судьбе ее творцов – от Толстого до Гоголя. Ведь и Толстой перед смертью если и не ушел, то, во всяком случае, предпринял отчаянную попытку уйти, вырваться из тисков привычной жизни, окружающей его обстановки барского дома, но, простудившись в поезде, на сквозняке, слег и уже не поднялся со своего ложа в доме начальника железнодорожной станции Астапово. Поразительная смерть – поразительная настолько, что и не скажешь, чего в ней больше, духовного величия, героического порыва русского Самсона, разрывающего путы, извечного толстовского анархизма, ниспровержения всех и вся или старческой немощи: на сквозняке простудился! Он-то, великан, Самсон, русский гений, не побоявшийся бросить вызов обществу, устоявшимся мнениям, высшему свету, церкви, царскому двору, – на сквозняке (вот и Скрябин, творец Мистерии на конец света, умер от пореза во время бритья)! Страшно волновался, переживал – все-таки уход, разрыв с семьей! – и не заметил, как продуло. Ему бы получше закутаться, застегнуться на все пуговицы, но какое там!.. мысли, мысли: вот и не заметил. А до этого в таком же лихорадочном волнении встал, собрался, стараясь, чтобы не услышала Софья Андреевна (не дай Бог скрипнуть половицей, что-нибудь уронить, разбить!), оставил для нее письмо и в пять часов утра вместе с секретарем Душаном Маковицким покинул Ясную Поляну. На станции каждый взял по два билета в разные направления: Лев Николаевич боялся, что жена будет преследовать, настигнет, разрыдается, устроит сцену и вернет.

Снова зажмет в тиски.

«...Делаю то, что обыкновенно делают старики: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни...» – так он написал в письме, обращенном к жене и переданном ей через дочь Александру Львовну.

Слова эти склоняют к размышлениям. С одной стороны, Толстой имеет в виду уединение и тишь монастыря, поскольку сам в монастырь и направляется (сначала в Козельск, а затем в Шамордино), ведь один крестьянин ему недавно сказал: «Ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела надо бросить, а душу спасать...» Но, с другой, ему явно вспомнилась в этот момент его любимая Индия, где старики имеют обыкновение – поскольку это предписано дхармой, главным духовным законом, – удаляться от мирской жизни в лесные убежища отшельников. Среди русских стариков таких найдешь немного: для них это не обыкновение, а личный почин, порыв, дерзновение, а вот в Индии – да, там вся жизнь делится на четыре этапа, и третий из них – лесное отшельничество (четвертый – безымян-

ные скитания с чашей для подаяний). По этому письму чувствуешь, как любовно вынашивал Лев Николаевич мысль об уходе, и так и этак ее поворачивал, опробовал и какие разные образцы перебирал в уме (в том числе и поразивший его уход Александра Добролюбова, поэта, декадента, ставшего безымянным скитальцем, проповедником, канувшим в глубины России). И конечно, был среди этих образцов и уход Александра, обернувшегося сибирским старцем, ведь недаром написал (начал, но не закончил; почему – вопрос особый) Лев Николаевич повесть «Посмертные записки старца Федора Кузмича». И недаром героя «Живого трупа» назвал не как-нибудь, а – Федором, Федей Протасовым.

Смерть помешала Толстому уйти, властно ответив на его «е. б. ж.» («если буду жив» – обычная приписка): «Нет, не будешь...» Вообще в предшествующие годы смерть не раз стучалась костяшками пальцев в двери семейства Толстых: в 1904 году умер брат Сергей Николаевич, затем в 1906 году дочь Маша, любимица, верный друг и помощник; к тому же тяжело заболела Софья Андреевна, которой пришлось делать операцию. И вот наконец в доме начальника станции настигла смерть и самого Льва Николаевича. Но можем ли мы представить, что события развивались иначе? Почему же нет! Можем, ведь и средневековая схоластика позволяла различные, подчас даже самые смелые и рискованные допущения, лишь бы они вдохновляли поиск и работу мысли. Поэтому и нам позволено спросить: а если бы Лев Николаевич не умер в Астапове, его путь из Шамордина на юг не прервался так трагически, а продолжился и он, по примеру Александра, обернулся безымянным старцем где-нибудь в Крыму, на Кавказе, на Дону, на Волге? Молился бы, наставлял, утешал, глядя склонившиеся перед ним головы сухонькой ладошкой... Дух захватывает при мысли о том, какого нравственного величия он мог бы достигнуть, мог бы потрясти и Россию, и Европу, и весь мир своим духовным подвигом.

Об этом писали, и, может быть, убедительнее всех, не философы, не литературоведы, а человек, на которого в академических кругах как-то не принято ссылаться, слишком уж он странную, необычную написал книгу – «Розу мира». А что там, в этой «Розе мира», пойдешь разберись, поэтому не лучше ли ее эдак в сторонку (от греха подальше), на край стола, а то и вовсе на верхнюю полку, на антресоли?.. Но я все-таки придвину ее поближе и не побоюсь раскрыть, поскольку ее автор, поэт, философ, мистик Даниил Андреев, как никто умел видеть духовный смысл, прозревать метафизические глубины и в жизни, и в творчестве русских писателей: «И действительно: если бы он не заблудился среди нагромождений своего рассудка, если бы ушел из дому лет на 20 раньше, сперва в уединение, а потом – с устной проповедью в народ, совершенно буквально странствуя по дорогам России и говоря простым людям простыми словами о России Небесной, о высших мирах Шаданакара (совокупность разноматериальных слоев нашей планеты – Л.Б.), о верховной Правде и универсальной любви, – эта проповедь прогремела бы на весь мир, этот воплощенный образ Пророка засиял бы на рубеже XX века надо всей Европой, надо всем человечеством, и невозможно измерить, какое возвышающее и очищающее влияние оказал бы он на миллионы и миллионы сердец».

Все это так, но не случайно в перечне Даниилом Андреевым возможных тем проповедей Толстого отсутствует Христос: как раз Христа он и не мог бы нести в народ, поскольку перекроил Его по собственным меркам. И всякий раз, как начинал бы проповедовать, выходил бы у него не Христос, а все тот же Лев Николаевич с его морализмом, нечуткостью к мистическому, запредельному, сверхразумному. Все это он в Христе отбросил, и получился Христос «от мира сего», удивительно совпадающий и с арианским (Арий учил тому, что Сын как человек меньше Отца как Бога), и с ренановским, и с булгаковским («Мастер и Маргарита»). Собственно, Толстой в своем подходе к Евангелиям отразил доникейское понимание Христа и, с другой стороны, просветительское, рационалистическое, позитивистское. В сущности, он был одним из русских протестантов, недаром его «Отец Сергей» застав-

ляет вспомнить неудавшийся монастырский опыт Лютера. Христос же, открывающийся в молитвенном опыте, мистическом взлете и парении души, в уединенных восторгах, видениях и экстазах, остался ему чужд, даже враждебен. Неслучайно Лев Николаевич признавался, что размышления о Христе, Церкви, Евангелиях доставляют ему умственное наслаждение (можно добавить: и сознание своего превосходства над мнениями других).

В этом весь Толстой с его жаждой смирения, опрощения (носил простую блузу, не ел мяса, босой ходил за сохой), обостренной совестливостью, тайной интеллектуальной гордыней и нераскрытостью духовных даров. Собственно, вопрос этот в литературе о Толстом впервые ясно и отчетливо поставил Даниил Андреев, поэтому за неимением других источников мы вновь обратимся к нему: «Трагедия Толстого заключается не в том, что он ушел от художественной литературы, а в том, что дары, необходимые для создания из собственной жизни величавого образца, который превышал бы значительность его художественных творений, – дары, необходимые для пророческого служения, – остались в нем нераскрытыми. Духовные очи не разомкнулись, и миров горних он не узрел. Духовный слух не отверзся, и мировой гармонии он не услышал. Глубинная память не пробудилась, и виденного его душою в иных слоях или в других воплощениях он не вспомнил». И далее вывод: «Его проповеди кажутся безблагодатными потому, что рождены они только совестью и опираются только на логику, а духовного знания, нужного для пророчества, в них нет».

Таким образом, и в уходе императора Александра Толстой многого не распознал, не постиг тайну преображения царя в святого. В его изображении Федор Кузмич, собственно, и не святой, не старец, наделенный благодатной силой, а старик со всеми человеческими слабостями и сомнениями. Старик, который не может побороть «антипатии, отвращения» к неприятным людям (особенно к досаждавшему ему своими визитами Никанору Ивановичу и... к Людовику XVIII) и совсем по-толстовски оценивает прожитую жизнь, отношения с женой и проч. Но при этом в уходе Александра Толстой, может быть, уловил то, что легло в основу его собственного учения о непротivлении злу насилieм. Ведь Александр во многом ушел из-за того, что не захотел брать на себя ту роль самодержца, которую взял затем Николай (к этой мысли мы еще вернемся), не захотел подавлять ропот и бунт... Во всяком случае, получив очередной донос о деятельности тайных обществ, будущих декабристов, он заключил: «Не мне их карать».

Не воспротивился злу насилieм – вполне по-толстовски...

Александровский уход задолго до Толстого по-своему воплотил Гоголь в обращениях последних лет. Он, как и Толстой, не был благодатным проповедником, и его попытки наставить на путь истинный друзей, даже старших по возрасту, убежденных седидами отцов семейств, менторский тон поучающего часто вызывали у них справедливое недоумение, а то и бурное негодование и возмущение. Но ведь при этом Гоголь написал «Выбранные места», проникновенно воспев православие, овеивающее своей теплотой весь строй русской жизни. И не только «Выбранные места», но и «Размышления о Божественной литургии», свидетельствующие о стремлении выразить церковное понимание символики и мистики главного православного таинства. Гоголь не только был, – вернее, страстно желал быть церковным человеком (вечное напоминание об этом – храм в Москве на Поварской, где он молился), но усвоил – пусть несколько лихорадочно, судорожно, надрывно, по-интеллигентски, – многие составляющие православной аскетики: совершил благочестивое паломничество ко Гробу Господню и постился со всей суровостью автодиакта. Он только от Пушкина не мог отречься, как требовал от него духовник Матфий, воплощение Николаевской эпохи, Гоголь же в лице Пушкина сохранял верность Александровской, не подозревая о том, что именно Александр, а не Матфий мог бы стать его вожатым на духовном пути.

Но в 1825 году Гоголь был слишком юн, да и далек от Петербурга, чтобы попытаться распознать то, что скрывалось за официальным известием о смерти императора...

Для Чехова уходом было паломничество на Сахалин, каторжный остров, – через Урал, через Сибирь, по тряским дорогам, в лодке, заливаемой водой. Для Даниила Андреева – десятилетие, проведенное в заточении, сталинском застенке, во Владимирской тюрьме, где и была создана «Роза мира». И, наконец, сам Пушкин... Впрочем, отношение Пушкина к императору Александру и императрице Елизавете Алексеевне, осмысление возможного ухода – тема самостоятельная, сложная, требующая особого внимания и отдельного рассмотрения, и мы ее прибережем на будущее.

А пока вернемся к тому, с чего начали. Итак, не умер, а ушел: что еще здесь заставляет задуматься? Если бы просто ушел в монастырь, как Карл V, или сложил с себя имперские полномочия, как римлянин Цинциннат, это – при всей значимости, даже величественности, героичности такого поступка – было бы в порядке вещей, укладывалось в некие рамки, соответствовало этикетным нормам эпохи. Но ведь Александр ушел, а не умер; он инсценировал, разыграл собственную смерть, выдал за себя умершего, положенного в гроб вместо него. Это же – нарушение этикета, переименование, выворачивание наизнанку всякого порядка, выламывание из всех рамок, заставляющее искать дополнительные смысловые определения. Уход и что еще? А ну-ка задумаемся, поищем. Пожалуй, лишь самозванство в такой же степени укоренено в подпочве национального сознания и столь же причудливыми всплесками вырывается наружу. Но присвоение чужого имени, разыгрываемое как исторический фарс и осуществляемое как политическая авантюра, казалось бы, лишено того внутреннего измерения, которое и делает уход в безымянность актом возвышенной духовной драмы. И все же, все же... Без самозванства не распознать в русской душе чего-то глубинного, нутряного, изначального, некоей утаенной, подспудно бродящей, бушующей в ней стихии. Это чувствовал еще Пушкин: недаром его так интересуют и самозванцы (Пугачев – Петр III), и добровольно оставившие трон («Анжело», «Родрик»).

Гришка Отрепьев, будущий Лжедмитрий, ярыжкой, голью перекаточной бражничал по кабакам, пил беспробудно, шатаясь и держась за стены, ходил меж столов, но иногда, в минуты просветления, с проникновенной задумчивостью повторял, глядя в никуда: «А я, пожалуй, и царем на Руси стану». И – стал, что самое-то поразительное. Хотя и подставным, самозванным, но – стал, и, как пишет о нем Ключевский, старался царское достоинство не уронить, блюсти, быть царем хорошим, скромным и справедливым и много доброго сделал. Вот она, душа самозванца, – нет, не потемки: есть в ней какой-то неверный, зыбкий, мерцающий, отраженный свет, похожий на небо в глубоком колодце! Значит, верил в свою избранность, предназначенность или, скажем так, чуял в себе того, от чьего имени выступал. Чуял таким, каким его создавала народная молва, связывавшая с убиенным царевичем свои заветные чаяния. По-своему сострадал убиенному царевичу и, словно кропя живой водой, воскрешал его в себе, давал проявиться, жертвовал себя его воскресению.

Поэтому да, лишено и в то же время нет, не лишено русское самозванство того же внутреннего измерения, что и уход. Вдумаемся: Григорий Отрепьев стал царем самозванным, а Александр I царем самоотреченным, как его называли в народе. И меж самозванством, самоотречением и уходом есть некое промежуточное звено – юродство. Сколько их было, юродивых или похабов на Руси! Истинное, благодатное юродство, – юродство по призванию, юродство, взятое на себя как высший духовный подвиг ближе к уходу; внешнее, театрализованное, самочинное, безблагодатное – к самозванству. Нечто юродское угадывается и в Толстом, и Гоголе, но – не в Пушкине, хотя в «Борисе Годунове» самый близкий ему персонаж – Юродивый, и отождествляет он себя именно с ним: «Хоть она (трагедия «Борис Годунов». – Л.Б.) и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!».

По этим трем этапам и странствует извечно русская душа. Приглядись пристальнее и увидишь: русский человек, кто бы он ни был, – полководец (Суворов петухом кричал),

вельможа (екатерининские вельможи почти сплошь то ли чудаки, то ли юроды), художник (такой как Иванов), писатель, – уходит, юродствует и самозванствует.

Без этого нам не постигнуть до конца того, что император, обитатель Зимнего дворца с зеркалами и навощенным паркетом, принимавший знаки поклонения, круживший головы светским красавицам, очаровывавший всех на балах, появился в Сибири как старец в простой деревенской рубахе и старой, вылинявшей дохе.

Глава вторая

Имена

Старца этого звали... звали и просто Федором Кузьмичом, особенно в народе, среди арестантов и ссыльных, окружавших его, и он против такого обращения ничего не имел, не возражал: ну, Федор и Федор, даже отрадно ему было затеряться среди множества других Федоров, слиться с ними. И все-таки подлинное его имя – Феодор, Феодор Козьмич, и выбрано оно не случайно, и означало для Александра очень многое. Прежде всего, это было его новое, духовное имя, соответствовавшее тому грандиозному перелому, который совершился в душе. Когда его бабка Екатерина II нарекала его Александром в честь благоверного князя Александра Невского, метила-то она дальше, в Александра Великого, чью судьбу прочла своему царственному внуку. Судьбу завоевателя, зиждителя мировой державы, какой под его императорской дланью должна стать Россия. Вот она и пишет барону Гриму, своему постоянному корреспонденту: «Этот святой был человек с качествами героическими. Он отличался мужеством, настойчивостью и ловкостью, что возвышало его над современными ему удельными, как и он, князьями. Татары уважали его. Новгородская республика подчинялась ему, ценя его доблести. Он отлично колотил шведов, и слава его была так велика, что его почтили саном великого князя».

И эта судьба сбылась, осуществилась на его жизненном поприще: присоединил к России Финляндию и прочие земли, победил Наполеона и вошел в Париж как спаситель Франции и Европы. Таким образом, свое первое имя он, если можно так выразиться, отработал сполна. Правда, крепостного права так и не отменил и конституцию России не даровал, но это уж пусть другие, более успешные, преуспевающие и удачливые. Для него же наступил черед иных – духовных – деяний и свершений, предначертанных еще двумя именами Александра, его своеобразными отсветами. В кругу близких к нему людей Александра столь часто называли ангелом, что это превратилось в имя, которое мы вправе написать с прописной буквы, – Ангел. И этот Ангел возник затем на Александровской колонне, причем неслучайно ему было придано портретное сходство с Александром. Ангел с крестом, на который он указывает как на символ своего крестного пути.

И, наконец, третье имя – Благословенный: этот почетный титул Александр получил после побед над Наполеоном как признание его заслуг перед отечеством и народом. Получил вопреки своим воле и желанию: все свои заслуги он склонен приписывать Богу, но этот титул настолько отвечает его внутренней сущности, что тоже становится для него именем. Таким образом, угадывается предначертание, запечатленное в этих трех именах: Александр, благословенный на то, чтобы стать ангелом на земле, то есть монахом, поскольку монашеское служение в православии приравнивается к ангельскому, оно от века ангельского чина.

Теперь имя Александр как императорское имя должно исчезнуть, и оно действительно исчезает в простонародном имени Федор: сколько этих Федоров на Руси! В каждом городе, в каждой деревне, на каждом постоялом дворе – Федор, Федя, Федька... Но в то же время, исчезнув, оно должно преобразиться, как преображается и сам Александр на новом жизненном этапе. Собственно, и библейский Аврам («Отец высей») стал Авраамом («Отцом множества») после призвания его Богом. И при монашеском постриге, как известно, давалось новое имя. Поэтому Федор превращается в Феодора: Александр выбирает имя, в котором, словно тайный водяной знак, проступает, просвечивает латинское «Тео» («Фео») – «Бог», и означает оно «Дар Божий».

Но в этом имени угадывается и другой знак, указывающий на принадлежность Феодора Козьмича царскому дому Романовых. Известно, что имена Александра и Феодора носили основатели дома Романовых, дядя и отец Михаила I Феодоровича, а Федоровская

икона Божией Матери была семейной святыней рода. Поэтому для Александра I было вполне естественно стать Феодором: это имя ему не чуждо и выбор не случаен. Исследователи указывают на дополнительную мотивировку выбора, оправданную в том случае, если духовным наставником, благословившим Александра на старчество, был митрополит Филарет: «... в славном 1812 году архимандрит Филарет, одновременно с утверждением в должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии, был назначен настоятелем первоклассного Новгородского Юрьевского монастыря. Того самого, что позже получит в управление архимандрит Фотий. Именно в Софийском соборе Новгорода покоились мощи святого князя Феодора – старшего брата святого Александра Невского; в «Словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых», изданном в 1836 году (год красноуфимского ареста Феодора Козьмича) и тогда же положительно отрецензированном Пушкиным, читаем: «Сей юный князь (по словам летописи), цветущий красотою, готовился вступить в брак, но внезапная смерть прекратила дни его»).

А почему Козьмич? Рискну предположить, что такое отчество старец Феодор выбрал себе потому, что это было монашеское имя князя Дмитрия Пожарского, возглавившего ополчение против поляков, – Козьма. О судьбе князя, перед смертью принявшего монашеский постриг, Александр не мог не думать в феврале 1818 года, открывая памятник Минину и Пожарскому на Красной площади и глядя на его каменное изваяние, припорошенное снежной метелью. Вот старец Феодор и взял его в духовные отцы, тем самым указуя на то, что и сам шел тем же путем: из князей (до принятия императорского сана он был великим князем) – в монахи.

Императрица Елизавета Алексеевна по официальной версии скончалась в мае 1826 года, возвращаясь из Таганрога в столицу. Мнимая смерть застигла ее в маленьком провинциальном городке Белеве, где на самом деле она не умерла, а сложила с себя сан императрицы и удалилась в иночество. Так они решили меж собой, Александр и Елизавета: он уйдет первым, а она – следом (поэтому и не сопровождала тело умершего в Петербург). Когда-то в их честь слагали хвалебные гимны: «Александр и Елизавета, восхищайте вы нас!» При этом и хулили, и порицали, и интриговали против них, и вот они оба шагнули туда, где ни восхищения, ни порицания, ни хулы, – в затвор, десятилетнее молчание.

Через десять лет она вышла из затвора, была арестована, помещена в тюрьму, затем в больницу для душевнобольных и наконец в Сырковский монастырь под Новгородом. В свое время императрица Мария Федоровна за ее кротость и терпение дала ей прозвище Ее Величество Молчание, а свой монастырский подвиг она совершала под именем Веры Молчальницы; на первом допросе у следователя назвала себя также Верой Александровной (после чего и замолчала), что тоже о многом говорит. Ее имя можно истолковать так: Верящая в Александра, в истинность и святость избранного им пути и выбравшая для себя этот же путь.

Итак, император и императрица отныне – Феодор Козьмич и Вера Молчальница, он – в Сибири, она – в глухом новгородском монастыре, оба проходят узкий путь покаяния, внутреннего преображения, домостроительства души. Да, в личном плане – это несомненный подвиг, но как истолковать это в плане историческом и даже историософском? Историк наверняка скажет: «Ну, положим, это лишь гипотеза. Вот если вскроют могилу Александра в Петропавловской крепости и она окажется пустой, тогда возможно, хотя тоже, знаете ли, не факт, не факт...» Поэтому в последних книгах об Александре гипотеза о Феодоре Козьмиче и рассматривается в самом конце, после рассказа о его исторических свершениях. Иногда историк даже может позволить себе написать: «Здесь нет возможности говорить об этой легенде подробно. Существует достаточно исследований, убедительно опровергающих ее. Загадка Александра заключается не в его смерти, а в его жизни». Какой академизм во фразе: «Существует достаточно исследований...» Как жизнеутверждающе это звучит! И хочется

добавить: как ходульно! Прочитав такое, невозможно удержаться от возгласа: вот оно тяжкое наследие советской исторической науки!

Нет, мы не собираемся ее чернить и порочить: в ней было много ценного, и прежде всего, непримиримость ко всему буржуазному, гнилоственному, жажда социальной справедливости. Но эта наука, оправдав Грозного и возвысив Наполеона (книги Тарле и Манфреда), не допускала ни малейшего намека на то, что среди ненавистных Романовых могли быть цари, способные на такой нравственный подвиг, как самоотречение, и поднявшиеся до вершин святости. Поэтому какой там Федор Козьмич! Умер, умер император в Таганроге, и не о чем тут больше говорить! Эта наука рассматривала Александра как стратега, дипломата, придворного, охотно смаковала подробности его любовных походов, но не пыталась постигнуть в нем собственно царя, помазанника Божьего. Советская наука оказалась бескрылой и нечуткой прежде всего к тайне имени, неслучайно ею в свое время был выброшен лозунг – история без имен. Мол, имен нет, да и истории как таковой нет – одни общественные закономерности!

Нет, мы хотим, мы жаждем имен и неповторимых судеб. Мы утверждаем вновь и вновь: подобная смена имен императора и императрицы – величайший исторический факт, проливающий новый свет не только на эпоху Александра, но и на русскую историю в целом (при этом мы не отрицаем значения и того факта, что Ульянов стал Лениным, а Джугашвили – Сталиным). Если же рассуждать историософски, то эта смена имен приблизила романовскую Россию (петербургский период) к Святой Руси и Москве как Третьему Риму, высветила в ней эти имена, похожие на тайные водяные знаки, отсветы незримого Китежа...

Первый шаг от Петербургской России к Московскому царству Александр сделал в самом начале войны 1812 года, когда, покинув по настоянию своей свиты (ему был оставлен на ночном столике незапечатанный конверт с письмом) боевые позиции, отправился не в Петербург, а в Москву и придал этому посещению символический характер приобщения к московским державным корням, православным святыням, народному духу. Собственно, это был во многом замысел адмирала Шишкова, горячего патриота, поборника отечественной старины (и – добавим, – одного из авторов письма на ночном столике), угадавшего в самом воздухе эпохи то, что невольно наводило на мысль: Александру явиться подданным своим не как петербургскому императору, а как московскому царю, царю-батюшке, чаемому народом. Но в Александре и самом уже пробуждалось, зрело то, что привело к перелому во всем его устроении, осознанию своего единства с народом в грозный час всеобщей беды, своего долга как православного государя. Невольный трепет вызывает сцена: 11 июля вечером Александр из Перхушкова, последней станции перед Москвой, едет в Первопрестольную, и по всей дороге его встречает народ, мужики и бабы с горящими свечами – тысячи мерцающих в белесых июльских сумерках свечей – и слышится пасхальное: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его».

А следующим утром Александр выходит на Красное крыльцо Кремля, приложив руку к сердцу, отдает поклон собравшемуся там народу и под ликующий колокольный звон направляется к Успенскому собору, усыпальнице русских царей. Через несколько дней он принимает в Кремле депутацию московского дворянства и купечества, готовых пожертвовать всем ради победы над врагом, дать деньги на армию, собрать и вооружить ополчение.

– Государь! Государь! – вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.

Так эта сцена описана в «Войне и мире» Толстого.

Вторым шагом к Святой Руси было то, что выражено в позднейшем рассказе Александра о пережитом им потрясении и духовном обращении во время пожара Москвы: «Пожар Москвы осветил мою душу и наполнил мое сердце теплотой веры, какой я не ощущал до сих пор. И тогда я познал Бога». Последние слова как будто на что-то указывают, они произнесены в некоем контексте, без которого остаются не до конца понятыми. В каком

же? «... познал Бога» – это явно библейское (а после 1812 года Александр не расстается с Библией), соотнесенное со словами Иова, подводящими итог его многострадальному пути: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя».

Вот и глаза Александра «видят». Его коснулось то «веяние тихого ветра», в котором открывается человеку Бог.

И наконец третьим – окончательным, – шагом стал уход...

Задумаемся над таким парадоксом: декабристы, ненавидевшие Романовых и мечтавшие о возрождении власти Рюриковичей, Кондратий Рылеев, устраивавший у себя в доме на Мойке русские завтраки с квашеной капустой, квасом и солеными огурцами, Петербург к Москве не приблизили, Московского царства не обрели. А приблизил и обрел именно Александр Романов, он же сибирский старец Феодор Козьмич.

И говорить об этом надо не в конце, а в начале.

В начале, господа!

Глава третья

Вензель

Неужели – он?! Неужели этот статный, осанистый, белобородый старик, появляющийся иногда на улицах старого Томска, и есть Александр I?! Да, император Александр, который не умер в Таганроге, а, положив вместо себя в гроб другого (солдата, что ли, умершего в лазарете), ушел неизвестно куда – в скит, в затвор, в схиму, чтобы через двенадцать лет поселиться в Сибири под именем Феодора Козьмича?! Удивительная, право, история! Удивительная, загадочная, непостижимая – прибыть вместе с партией ссыльных из Красноуфимска, где его судили за бродяжничество и приговорили к двадцати ударам плетью (императора-то!), и поселиться сначала в деревне Зерцалы, приписанной к казенному винокуренному заводу; затем у лихого казака Сидорова, построившего для него избушку на заднем дворе; затем неподалеку от села Краснореченского в такой же – чуть больше улья – избушке, выходившей окнами на пасеку крестьянина Латышева; и наконец в четырех верстах от Томска, на заимке купца Хромова, чьи работники сколотили для него келью. И так сколотили, хитрецы, что в погребе, под полом, слышалось певучее журчанье: спустись туда по лесенке и зачерпни ковшиком родниковой водички! Ах, хороша, аж зубы ломит!

Сколотили и тем самым уважили старца, любившего чистоту, благолепие и содержавшего свои вещи в строгом порядке. Да и вещей-то всего было: простая скамейка, дощатый стол, кровать с деревянным брусом вместо подушки, складной аналой и икона Почаевской Божьей Матери, намоленная святыня.

В этой келье старец проводил лето, а зимой (сибирская зима крута) перебирался в Томск, на Монастырскую улицу, где у него – уж почтенный Семен Феофанович позаботился – был отдельный домик, укрывшийся в саду, за большим, двухэтажным хромовским домом. В нем-то и зимовал таинственный старец, лишь изредка появляясь на улицах Томска, – статный, осанистый, с развевающейся по ветру бородой: неужели Александр Благословенный?! Глянь, Марья, посмотри, Аграфена, обернись, Калистрат, – неужели он?! Победитель Наполеона, изгнавший французов из русской земли и освободивший Европу от супостата, – неужели?! Жил во дворцах, едал на серебре и злате, душился сладкими духами, носил мундир с эполетами, а теперь в простой рубахе, подпоясанной ремешком, и старой, вылинявшей дохе бредет по пыльной обочине! Где еще такое увидишь! Ну, чудеса... право же, только ахнуть!

Так перешептывались, дивились и ахали Марья, Аграфена, Калистрат и прочие томские обыватели, когда встречался им Феодор Козьмич, и слухи летели за ним следом, словно змейки степной поземки: Александр... Александр... Однако слухи слухами, но очень уж смахивало на правду, что под именем старца скрывается августейшая особа. Ведь узнал же его сосланный в Сибирь истопник из царского дворца, который после встречи с Феодором Козьмичом (товарищ его заболел, и он обратился к старцу-целителю за помощью) осенял себя крестным знамением и клялся-божился, что это государь Александр Павлович! Узнал и бывший солдат, помнивший государя еще по тем временам, когда под барабанный бой, оттягивая носок, маршировал на дворцовом плацу (Александр, как и отец его Павел, любил вахтпарады). Узнала и некая чиновница, по слабости женской сомлевшая, упавшая в обморок при звуках знакомого голоса. А главное, сам Феодор Козьмич, уезжая из деревни Зерцалы, оставил там загадочный вензель, изображающий букву «А» с короною над нею и парящим голубком вместо перечерка! Оставил в тамошней часовне, и многие видели этот вензель, нарисованный карандашом и раскрашенный зеленовато-голубой и желтой красками. Видели, дивились, и как было не заподозрить в нем намек на царское происхождение старца: короны над буквами из простого форсу не рисуют! Поэтому и заговорили по всей

Сибири, что на заимке купца Хромова поселился император Александр, – заговорили в крестьянских избах, купеческих домах и дворянских особняках, в банках и казенных управах, в трактирах и чайных, в рудниках и на золотых приисках. Заговорили, и слухи превратились в молву, а молва со временем стала легендой. Легендой удивительно русской, поскольку ни в какой иной стране не могло случиться, чтобы император, добровольно отказавшись от власти, отказался бы и от собственного имени, богатства, привычных условий жизни и, проведя более десяти лет в затворничестве, пройдя суровый путь иноческого послушания, поста и уединенной молитвы, поднялся бы до вершин святости, обрел от Бога многие духовные дары.

Легенда, удивительно отвечающая исконному складу, внутреннему, сокровенному образу России, но самое-то русское в ней, пожалуй, то, что это не легенда, а быль. Да, да, самая настоящая быль, хотя и вынужденная принять форму легенды, поскольку есть некая закономерность, некая таинственная обусловленность в том, чтобы факты, подобные уходу Александра, существовали в истории возвышенно и прикровенно, а не опускались до плоской и однозначной очевидности. И ты, историк, зря хлопочешь, пытаясь доказать или опровергнуть: эти закономерность и обусловленность не позволяют подвергать такого рода факты унижительной процедуре доказательств, оскорбляя их избыточными документальными свидетельствами и подтверждениями, не оставляющими простора для фантазии и воображения. Ведь перед нами факты особого – духовного – ряда, их же следует не доказывать, а знать доопытным знанием и в них следует верить. Знать как быль и верить как в легенду – к этому мы и будем стремиться, рассказывая историю превращения императора Александра I в старца Феодора Козьмича, а пока еще несколько слов о возникновении легенды.

Зимой 1864 года старец Феодор Козьмич покинул бренный мир – это произошло в том самом доме на Монастырской улице, где он в смирении провел последние годы. Правда, незадолго до смерти он вернулся в свою старую келью к казаку Сидорову, но прожил там всего несколько месяцев, и когда Семен Феофанович Хромов заехал навестить его, он попросился назад в Томск. Попросился уже совершенно больной и ослабевший – его вывели под руки и бережно усадили в повозку. Прощаясь с Сидоровым и его женой, старец сказал: «Ну, спасибо всем и за все». Сказал, махнул рукой – и поехали. Отправились сначала в деревню Коробейниково и переночевали у тамошнего крестьянина Ивана Яковлевича Коробейникова, чью маленькую дочь Феокисту старец очень любил (может быть, потому, что все собственные дочери Александра умерли), а ранним утром, на зорьке, двинулись в Томск. В шестидесяти пяти верстах от Томска, неподалеку от деревни Турунтаевой, случилось чудо: по обеим сторонам дороги появились светящиеся столбы, сопровождавшие повозку до самого Томска и исчезнувшие лишь на Воскресенской горке. Помимо купца Хромова столбы эти видели правивший лошадьми ямщик и дочь Семена Феофановича Анна Семеновна, которая и воскликнула, обращаясь к старцу: «Батюшка, перед нами идут какие-то столбы!» Феодор Козьмич ничего ей не ответил и лишь тихо прошептал: «О, Пречистый Боже, благодарю...» Благодарил же он за то, что столбы как бы охраняли повозку, проезжавшую по тем местам, где частенько пошаливали, в оврагах слышался лихой посвист, на дорогу падало подрубленное дерево и бородатый мужик с кистенем останавливал лошадей и зычным голосом требовал: «Кошелек или жизнь!»

Охрана оказалась надежной, и до Томска добрались благополучно, но Феодору Козьмичу так и не стало лучше: он слабел и силы его покидали, словно кто-то невидимый стоял над ним, постепенно отнимая у плоти и освобождая душу для иной, вечной, жизни. Освобождая так, как дыханием отогревают стекло, затянутое льдом, чтобы в нем забрезжил голубоватый свет, вот и в облике Феодора Козьмича – бледном лице, почти бескровных губах, прозрачной коже лба, – все заметнее обозначалось нечто голубоватое, нездешнее...

«Батюшка, объяви хоть имя своего ангела, чтобы в молитвах наших упоминать его», – зывала к старцу жена Хромова, со слезами наклоняясь над его кроватью, но Феодор Козьмич хранил имя ангела в тайне: «Это Бог знает». «Тогда, батюшка, упомяни хоть имена твоих родителей, чтобы нам можно было молиться за них», – уговаривала другая гостья, часто бывавшая в доме, но Феодор Козьмич строго остерегал ее: «И этого тебе нельзя знать. Святая Церковь за них молится». После этих неудавшихся попыток – глупые женщины, чего с них взять! – сам Семен Феофанович пожаловал в келью, сбросил в сенях шубу, очистил от снега валенки и упал на колени перед старцем, истово крестя лоб: «Благослови меня, батюшка, спросить тебя об одном важном деле». «Говори, Бог тебя благословит», – ответил Феодор Козьмич, не открывая глаз. «Есть молва, – Семен Феофанович придвинулся вплотную к кровати и понизил голос до шепота, – что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный... Правда ли это?» После этих слов Феодор Козьмич открыл глаза и, слегка приподнявшись на локте, стал креститься и говорить: «Чудны дела Твои, Господи... Нет тайны, которая бы не открылась»; а на следующий день подозвал к себе Хромова и сказал: «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня и схорони просто».

Так наступило 20 января – тот самый день, на котором заканчивались земные сроки старца. Заканчивались, словно кто-то невидимый держал в руке маятник: вправо... влево... вправо... И вот в 8 часов 45 минут вечера Феодор Козьмич повернулся на спину, вздохнул три раза и без мучений и стонов затих навсегда. Земные сроки закончились – маятник остановился.

Итак, в восемь сорок пять: Хромов посмотрел на ходики и, может быть, сверил время со своими карманными часами. Дело-то важное – точность нужна!

Тело умершего обмыли (при этом, по свидетельству Хромова, он сидел на стуле как живой), одели в длинную белую рубаху – такова была воля покойного – и положили на стол. Три священника читали псалтырь над покойным, а утром 23 января тело старца переложили в гроб из крепких кедровых досок, пронесли по улице и похоронили в ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря. На большом деревянном кресте была надпись: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года» («Великого Благословенного» потом замазали, но слова эти проступали сквозь краску). Благословенного – как Александра. Вспомним сказанное: «Ты меня не величь». Но не сдержался Семен Феофанович и в посмертной надписи все-таки возвеличил старца: знайте, разумеете, кто лежит под этим крестом!

После Феодора Козьмича остались вещи: деревянный посох, суконный черный кафтан, перламутровый крест, икона Почаевской Божией Матери с едва заметным вензелем «А» и – что самое примечательное, – метрическое свидетельство о бракосочетании великого князя Александра Павловича с принцессой Баден-Дурлахской Луизой-Марией-Августой, впоследствии императрицей Елизаветой Алексеевной. Право же, такому документу самое место в дворцовых архивах, за семью печатями, а он хранился у сибирского ссыльного, осужденного за бродяжничество. Уникальный, особой важности документ – у бродяги! Странное дело... Купец Хромов выразился об этом так: «Старца называют бродягою, а вот у него имеется бумага о бракосочетании Александра Павловича». И слова эти слышала томская жительница Балахина, – и слышала, и видела в руках у Хромова метрическое свидетельство, запомнила даже, как выглядело, какой вид имела сия бумага: синеватого цвета лист с черной печатью внизу, некоторые строки отпечатаны типографским способом, а некоторые вписаны от руки.

Об этом свидетельстве Хромов рассказывал и настоятелю Алексеевского монастыря архимандриту Ионе, – рассказывал накануне отъезда в Петербург, куда и отправился со свидетельством и прочими бумагами, раскрывающими тайну старца. Что это была за поездка, легко себе представить: Хромов, степенный, богобоязненный, лояльный к власти сибир-

ский купец, – и вот в его доме живет и на его руках умирает император, скрывающий свое имя. Император-то скрывает, но Хромов, проницательный человек, догадывается! А тут еще обнаруживается свидетельство и кое-какие бумаги, о которых Хромов рассказал, по секрету шепнул одному, другому, но сам-то он чувствует: дело государственное! Затрагивающее святая святых власти – августейшую особу! Значит, надо ехать в столицу, в Петербург. Показать им бумаги, а там разберутся.

Вот Семен Феофанович и снарядился в дорогу. Снарядился, приехал и стал разыскивать влиятельных лиц – тех, кому можно было доверить столь важные сведения. Искал ли он выгоды для себя? Вряд ли; в государственных делах о себе лучше не думать, а то легко и головы лишиться. Для Хромова было важно, чтобы узнали наверху и сообщили еще выше, поэтому он и обратился к влиятельным, близким ко двору лицам. Побывал у обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева – тот даже прослезился, когда Хромов поведал ему о подвижнической жизни старца. Прослезился, выдвинул ящик письменного стола со врезом зеленого сукна посередине, властно протянул руку и слегка пошевелил сухими пальцами, как бы внушая Хромову: а ну-ка, братец, давай сюда документы. Вероятнее всего, в этом столе и осталось метрическое свидетельство о бракосочетании Александра, Хромова же вскоре пригласили к графу И. И. Воронцову-Дашкову, бывшему министру императорского двора. В просторном светлом зале вокруг большого стола сидели восемь грозных генералов в мундирах, при всех регалиях. Вот как об этом рассказывает сам Хромов:

– Правда ли, что этот старец Александр Первый? – спросили они меня.

– Вам, как людям ученым, это лучше знать! – отвечал я.

Потом между ними завязался спор.

Одни говорили, что этого быть не могло, потому что история подробно говорит о болезни, смерти и погребении императора Александра I. Другие же возражали и говорили, что все могло быть. Спор был продолжительный. Дошло до того, что один из генералов сказал мне, указывая в сторону Петропавловской крепости:

– Если вы, Хромов, станете распространять молву о старце и называть его Александром I, то вы наживете себе много неприятностей.

Тогда со своего места встал И. И. Воронцов-Дашков и сказал мне:

– Не бойтесь, Хромов, вы находитесь под моей защитой.

Струхнул малость Семен Феофанович, когда пригрозили ему Петропавловской крепостью, чего уж там скрывать, струхнул, но виду не показал и перед грозными генералами держался с достоинством, все примечая и все запоминая. «Много было говорено здесь, но, по-видимому, не пришли ни к какому соглашению, – пишет он и далее приводит следующий загадочный случай. – Среди генералов был и тот, который приезжал ко мне с приглашением к Дашкову. Впоследствии я узнал, что это – Рудановский. Через некоторое время я получаю от этого Рудановского телеграмму:

«Приготовьте мне квартиру».

Я очистил в своем доме квартиру.

Вскоре Рудановский действительно приехал в Томск и жил у меня. Он постоянно бывал на панихидах в келии старца, всегда усердно молился. Зачем приезжал Рудановский – осталось для меня тайной».

Глава четвертая

Два портрета

Помимо Рудановского могилу посещали и другие высокопоставленные особы, знатные лица и даже члены императорской семьи: цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II), великий князь Алексей Александрович, начальник Главного тюремного управления М. Н. Галкин-Врасский, военный министр А. Н. Куропаткин, министр путей сообщения князь М. И. Хилков. И всякий раз эти посещения выглядели странно, несли отпечаток некоей таинственности, – во всяком случае, для томских жителей, изрядно озадаченных ими и тщетно пытавшихся уразуметь, почему старцу оказывается такое внимание. Понятно, святой человек, но мало ли святых на Руси – и поближе к столице! А тут глухая Сибирь, резной бревенчатый Томск, где высоких домов-то – раз-два и обчелся, и вдруг такое паломничество! Неспроста, что и говорить, неспроста! Не иначе как здесь какая-то тайна!

А если есть тайна, – значит, должны быть желающие ее разгадать, и вот наряду с неумолкающей народной молвой стали появляться брошюры о Феодоре Козьмиче, а затем и ученые книги, доказывающие, что под его именем скрывался император Александр Павлович. Правда, эта версия тотчас же опровергалась в других не менее ученых книгах, среди которых особой известностью пользовалась работа великого князя Николая Михайловича, придворного историографа, но и у противников версии не находилось достаточных аргументов, чтобы взять верх, победить в этом споре. Одним словом, окончательно вопрос так и не был выяснен, и можно без преувеличения сказать, что он до сих пор относится к числу неразрешенных исторических загадок.

Намерены ли мы ее разгадать? Вот тут, пожалуй, надо объяснить: и да, и нет. Мы не собираемся представить читателю новые неопровержимые факты, доказательства тождественности двух фигур, да и старые-то будем приводить лишь в той мере, в какой это отвечает избранному нами жанру, – жанру свободного эссе (без сносок и примечаний), основанного на особом методе исторического познания. Суть этого метода – в созерцании исторических мест и предметных реалий, тех, в которых таинственно живет, мерцает, фосфоресцирует волшебный отсвет прошлого. Собственно, автор этих строк, фигура отчасти условная, и автор и персонаж, от чьего имени ведется повествование, и есть такой романтический и сентиментальный созерцатель, а вовсе не дотошный историк, замуравивший себя в архивах. И, что еще важно добавить, созерцатель не столько познающий, сколько знающий. Знающий изначально...

Представим, что нам случайно довелось услышать такой диалог:

« – Неужели вы допускаете, что это мог быть император Александр Первый?

– Допускаю; больше того, я даже уверен в этом.

– Легенда это, не более, нужно признать, весьма замечательная легенда, но все-таки не факт.

– Скажите в таком случае, кто бы мог быть другой.

– Не знаю. Но убежден, что это был один из тех таинственных людей, которых в Сибири всегда немало. Скорее всего, один из «искавших истины» образованных людей того времени, пожелавших скинуть с себя все старое, чтобы «обновиться» телом и духом.

– Но кто, как его фамилия?

– Не знаю, откуда же мне знать. Я не настолько знаком с историей дворянских родов, чтобы определенно сказать, кто из членов какого-нибудь рода решился на такой подвиг.

– Вряд ли кто и скажет, да вряд ли и был такой человек и мог быть, кроме того, чьи нравственные силы и дух превышали всех остальных. Впрочем, оставим этот разговор до

другого времени, я получу из Томска кое-какие справки и тогда уже фактически разобью ваш скептицизм».

Представим, хотя особых усилий воображения тут не требуется, поскольку диалог этот состоялся на самом деле и его участники – реально существовавшие люди: П.П. Баснин, автор заметки в журнале «Исторический вестник», и А. А. Черкасов, написавший известные в свое время «Записки охотника Восточной Сибири». Как следует из приведенного диалога, Александр Александрович Черкасов действительно знал, что старец Феодор и Александр Благословенный – одно и то же лицо. Знал изначально, основываясь на некоем безотчетном внутреннем чувстве, поэтому он и говорит: «...нравственные силы и дух превышали всех остальных». Это самое замечательное место в его рассуждениях. Замечательное и важное для нас, поскольку оно свидетельствует о знании куда более глубоком и, я бы сказал, духовном, чем осведомленность в конкретных исторических реалиях. Пора наконец привыкнуть, что знание доступно не только уму, но и сердцу и существуют особые – неразгаданные, – каналы для передачи знаний. Неразгаданные и рационально непостижимые каналы духовной связи между множеством окружающих нас миров, «видимых и невидимых», поэтому дело вовсе не в справках, которые Александр Александрович надеется получить из Томска: получит или не получит – это ничего не изменит. Дело в том, что он «допускает и даже уверен»: старец Феодор – это Александр Благословенный; и подобная уверенность сближает его с теми, кто обладал таким же непоколебимым знанием.

Прежде всего, с купцом Хромовым, чья жизнь перевернулась из-за того, что на его заимке поселился Александр Благословенный, и сам он, трезвый, степенный, превратился в одержимого одной мыслью, одной идеей. «Вам, как людям ученым, лучше знать». Лукавит Семен Феофанович – он, не слишком ученый и «не шибко грамотный», как раз и знает то, в чем сомневаются грозные генералы. Точно так же знает это и добрейший Николай Карлович Шильдер, автор четырехтомной истории царствования Александра I. Знает, несмотря на то, что в своей истории открыто не говорит об этом, а лишь загадочно попыхивает трубочкой, предоставляя читателю самому поразмыслить и сделать окончательный вывод: «Если бы фантастические догадки и нерадивые предания могли быть основаны на положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим путем действительность оставила бы за собою самые смелые поэтические вымыслы; во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвою для неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой служило бы искупление. В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот «сфинкс, не разгаданный до гроба», без сомнения, представился бы самым трагическим лицом русской истории, и его тернистый жизненный путь увенчался бы небывалым загробным апофеозом, осененным лучами святости».

Что это, предположение или утверждение? Расположим и то, и другое на двух противоположных чашах весов. На чаше утверждения окажется весь этот плотно, сильно, с пафосом написанный отрывок («неподражаемая драма», «потрясающий эпилог»), а на чаше предположения – лишь одно словечко «если бы», которое к тому же так легко убрать, сдуть, словно пушинку. Что же в итоге перевешивает, читатель? О чем здесь, обращаясь к нам через столетие, на самом деле говорит Николай Карлович Шильдер?

Знает истину и историк-энтузиаст К.Н.Михайлов, заставший в живых Н. К. Шильдера, беседовавший с ним и смело поставивший тире в заглавии своей книги «Император Александр I – старец Федор Кузьмич». И, наконец, знает человек совсем иного склада (мы на него уже ссылались) – поэт, философ, мистик и духовидец Даниил Андреев, к свидетельству которого мы сейчас и обратимся.

Обратимся, заранее предвидя, что историк при этом скептически улыбнется, поморщится и безнадежно махнет рукой: «Тоже мне аргументы!..» И не он один – найдутся и дру-

гие противники подобных аргументов, скажут: «Зачем?..» Человек же церковного воспитания, наслышанный о Феодоре Козьмиче, святом старце, чтимом в томской епархии, но не жалующий «Розу мира», и вовсе насупится, сурово сдвинет брови и осуждающе промолчит: мол, не с тем связался... И все-таки мы рискнем хотя бы потому, что об Александре писали всякое, но подобного никто больше не написал: это свидетельство редкостное, уникальное, оно поистине ошеломляет и дух от него захватывает...

Но сначала позволим себе поделить воспоминанием о самом первом знакомстве с творчеством Даниила Леонидовича, а заодно пропеть хвалу одинокой комнате, занавешенному окну, мигающей желтой лампе под пыльным колпаком и старому креслу, в котором я когда-то, в восьмидесятые годы прошлого века, читал «Розу мира». Читал еще не изданную книгой (по тем временам такое казалось немыслимым) и перепечатанную на плохой машинке, читал по две-три странички в день, чтобы вникнуть, постичь, запомнить, и дивной музыкой звучали небывалые слова – Шаданакар, Энроф, Звента-Свентана, Нэртис, Олирна, и доносились зовы далеких миров, и ангелы трубили в золотые трубы.

Трубили ангелы, и мы с моим другом (ныне уже покойном, царство ему небесное), вечно хохочущим краснолицым толстяком, хромым, опиравшимся о палку, в высоком ботинке, бродили по бульварам, сидели на утонувших в снегу скамейках, ломали купленный в булочной душистый черный хлеб и всерьез замыслили создать Общество Розы Мира, которое объединило бы таких же, как мы, чудаков и мечтателей. Вот тогда-то – в старом кресле, под желтой мигающей лампой – я и прочел завораживающе прекрасные, заряженные высокой творческой энергией главы о Феодоре Козьмиче, и больше всего поразили в них строки: «Я не могу вдаваться здесь в изложение аргументов в пользу этой так называемой легенды. Я не историческое исследование пишу, а метаисторический очерк. Тот же, перед чьим внутренним зрением промчался в воздушных пучинах лучезарный гигант; тот, кто с замиранием и благоговением воспринял смысл неповторимого пути, по которому шел столетие назад этот просветленный, – того не могли бы поколебать в его знании ни недостаточность научных доказательств, ни даже полное их отсутствие». «Тот, перед чьим внутренним зрением...» – это о себе и о Владимирской тюрьме, где Даниилу Андрееву, приговоренному Особым совещанием к двадцатипятилетнему сроку, и являлись видения, составившие духовидческую основу «Розы мира», «...не могли бы поколебать в его знании...» – это о том, что открывается сердцу и духовному зрению.

Мне повезло, и, может быть, даже больше – посчастливилось. И это счастье было следствием некоего совпадения, предусмотренного теми, кто, незримо управляя моей судьбой, сначала посадил меня в старое кресло с «Розой мира» на коленях, а затем позволил почувствовать рядом с собой скрытое присутствие ее автора, соприкоснуться с ним и войти в его духовное поле: я познакомился с вдовой поэта Аллой Александровной Андреевой (об этом я подробно рассказываю в книге «Даниил Андреев – рыцарь Розы», изданной в 2006 году). Итак, я познакомился и, когда бывал у нее, все пытал, спрашивал об отношении Даниила Леонидовича к Феодору Козьмичу: что говорил и часто ли заговаривал на эту тему. В каких словах, с каким выражением лица и характерными жестами рук. Выражением... жестами... – наверное, спрашивал так дотошно, что однажды Алла Александровна не выдержала и, дабы умерить мой пыл и придать предметную очерченность моим устремлениям, подарила мне портрет. Тот самый знаменитый портрет Феодора Козьмича, который описывается в «Розе мира», – старец изображен на нем во весь рост, правая рука прижата к груди, а большой палец левой заложен за пояс длинной белой рубахи. Орлиный взор строг, губы крепко сжаты. Высокий лоб, поднятые дуги бровей и аскетически запавшие щеки выдают напряжение, суровый накал внутренней духовной работы: перед нами человек, опаленный огнем поста и молитвы.

Этот портрет я спрятал под стекло письменного стола, чтобы постоянно вглядываться в него и одновременно с присутствием творца «Розы мира» ощущать присутствие этого человека, – благое присутствие просветленного, врачующего и предостерегающего. А вскоре рядом с подаренным мне портретом появился другой, купленный мною в маленьком музейчике под Аустерлицем, куда я попал, путешествуя по Чехии со случайной компанией попутчиков, что называется туристской группой. Странная, признаться, была группа, со всеми признаками несчастных (от неверия своему счастью) русских туристских групп, то ли сирот, то ли бродяг. Странная и похожая то ли на бродяг, то ли на команду подвыпивших музыкантов, играющих на похоронах: все пошатывались, поеживались на ветру и тянули вразнобой. Один – в магазин, другой – в пивную, третий – в подвальчик-варьете.

Вот и я был по-сиротски свободен, предоставлен самому себе и сначала исходил пешком всю старую Прагу, припахивающую характерно угольным, с кислинкой дымом печных труб и окутанную розовым осенним туманом, насмотрелся на трубочистов в высоких цилиндрах, наслушался грохота приземистых красных трамваев, постоял на Карловом мосту, разглядывая наброски уличных художников. Побывал на вилле Бертрамка, где хранится светлороскошный, даже чуть рыжеватый, локон Моцарта. А затем оказался под тем самым Аустерлицем, о котором еще со школьных лет, со времен прочтения «Войны и мира», знал, что именно там Александр I впервые столкнулся в сражении с Наполеоном. И вот маячившее в мечтательной дымке, завораживающее и несбыточное *там* превратилось в реально сбывшееся *здесь*. И я увидел тот холм, с которого Александр наблюдал за сражением, почувствовал неуловимое дыхание окружавшего его пространства, и гений здешних мест пронесся надо мною, заставляя неким усилием души, знакомым всем сентиментальным созерцателям, соединить пространство со временем – с поздней осенью 1805 года, когда это происходило. Соединить и тем самым наполнить его предметами, некогда бывшими, но более не существующими, утратившими свою материальную оболочку, истлевшими и распавшимися: чугунными пушками на больших деревянных колесах, шарахающимися от взрывов лошадьми, дымом от выстрелов, барабанной дробью, запахом солдатских сапог, сгоревшего пороха и окровавленных бинтов.

Да, здесь, на этом поле, Наполеон наголову разбил войска союзников, Австрии и России, и одержал одну из самых блестящих своих побед, недаром всю жизнь потом вспоминал солнце Аустерлица. Александр был жестоко наказан за то, что не послушал мудрого и осторожного Кутузова, советовавшего избежать открытого столкновения с Наполеоном, – во всяком случае до вступления в коалицию Пруссии, спасти армию, не бросаться с горячностью в наступление. И уж ни в коем случае, не покидать стратегически выгодных позиций на Праценских высотах, иначе высоты захватят французы, закрепятся и тогда их не сбросить, не опрокинуть никаким приступом. Так подсказывала логика войны, но Александр, не благоволивший к Кутузову, питавший к нему давнюю неприязнь, всячески отстранял его от выработки диспозиции. Однажды даже бросил ему по-французски: «Это вас не касается!» Поэтому царь принял план начальника австрийского штаба генерала Вейротера, считая его знатоком военной науки, испытанным полководцем, опытным стратегом. И тот все сделал наоборот, вопреки Кутузову и... к прямой выгоде Наполеона (многие потом обвиняли австрийцев в предательстве), который только и ждал, чтобы союзники стройными рядами, со штыками наперевес спустились с высот в долину. Ждал и заманивал их в ловушку, прикидываясь раненым зверем, приволакивающим ногу, внушая, что при первых залпах готов дрогнуть и отступить. Ну, добейте меня, добейте! Но лишь только началась атака, он мощным ударом в центре рассек русско-австрийскую армию, стремительно занял высоты, лишил фланги союзников взаимосвязи и полностью разгромил, смял, заставил в панике отступать к замерзшим озерам, на которых ядрами пушек взламывал лед.

Александр пережил ужасные минуты. Он узнал на опыте, что такое военный гений Наполеона, его безошибочное чутье позиции, умение предвидеть события, и испытал всю горечь унижения и позора. Позднее он сетовал: «Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надо было действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее». Но «настойчивее» не позволял придворный этикет, благоговение перед царем, помазанником Божьим: это тоже надо понять. К тому же Кутузов отчасти и соглашался с Александром: раз пришли на помощь австрийцам, драться-то, в конце концов, надо, иначе что это за русские молодцы! Так или иначе, но на глазах Александра армия, спаянная единой волей, как отлаженный механизм подчинявшаяся приказам своих командиров, способная на чудеса героизма, превратилась в обезумевшую толпу людей, разметанную по всему полю: из павших под пулями, раненых и убитых, образовалось кровавое месиво, разрывы снарядов, хрип лошадей, стоны сливались в сплошной гул.

В дыму сражения Александр потерял связь со штабом и остался почти без свиты: сопровождали царя лишь верный ему лейб-медик Виллие (он будет с Александром и в Таганроге), барейтор Ене, конюший и два казака. Он вполне мог попасть в плен, случись натолкнуться на французский отряд: горстка своих, почти без оружия, не отстояли бы. К тому же царь неуверенно держался в седле, не смог перескочить через ров, и барейтору пришлось самому для примера несколько раз преодолеть это препятствие, чтобы показать, как это делается. В конце концов, не выдержав всех испытаний, измученный, потрясенный, с расстроенными нервами, царь разрыдался, сидя под деревом и закрывая лицо платком. Майор Толь, издали следивший за ним все это время и ждавший повода вмешаться, предложить свою помощь, подскочил к царю, чтобы его ободрить и утешить. Это придало ему сил, и вскоре Александр поднялся, вытер слезы, молча обнял Толя и снова сел в седло.

К ночи добрались до моравской деревни, где остановился на ночлег и император Франц, также спасавшийся бегством от Наполеона. Александр валился с ног от усталости, по лицу струился пот, весь был в грязи, черен лицом, белье не менял двое суток. Отыскивали избу, свободную от постоя, постучались, их приютили на ночь. Совершенно больной, разбитый, дрожа от озноба Александр упал на солому. Виллие хотел приготовить для него глинтвейн, чтобы царь получше уснул, но у хозяев не нашлось красного вина. Послали в избу императора Франца, но обер-гофмаршал Ламберти, учтиво раскланиваясь и сочувственно улыбаясь, сказал, что тот уже спит, а без его ведома он не смеет распоряжаться запасами. Оставалась последняя надежда на наших казаков, и те не подвели, отыскиали в походных флягах, поделились последним. Виллие добавил к вину немного опиума, царь выпил, едва удерживая в руках бокал, стуча зубами по стеклу, и наконец провалился в глубокий сон.

Все это было, об этом свидетельствуют очевидцы, пишут историки и романисты (сцены с фрейтором и майором Толем воссоздает в «Войне и мире» Толстой), но там, на холме, не таким представился мне Александр. Среди дыма, огня, выстрелов, взрывов только начинающегося сражения передо мной возникла закутанная в плащ фигура, и я угадал черты лица – те, которые затем распознал на купленном в музее портрете. Лица, словно бы овеянного некоей мечтательной голубизной, излучающего романтическую окрыленность, веру в возвышенные идеалы, торжество справедливости. Светлого, открытого, с правильными, рельефно вылепленными чертами, чуть затуманенным взглядом красивых глаз и тонкими выпуклыми губами – лица молодого Александра.

Угадал и понял, что я знаю. Знаю тайну, которая связывает два портрета. Тайну императора Александра I и старца Феодора Козьмича. Вернее (не побоимся и мы поставить тире), императора Александра – старца Феодора.

Глава пятая

Александр и... Александр

Знаю и поэтому после Праги и Аустерлица должен снова поехать. Романтический и сентиментальный созерцатель предметов, сохранивших свечение прошлых времен, я должен поехать по всем тем местам, где свершалось это событие, – может быть одно из самых значительных в русской истории, не уступающее по важности Бородинской битве, пожару Москвы, освобождению Европы от Наполеона и прочим событиям военной и политической истории девятнадцатого века.

Не уступающее как событие истории духовной, творимой не на изрытом ядрами поле, не в солдатской палатке и походном шатре полководца, а за решетчатым окошком монастыря, на дощатом полу, стертом от долгого стояния на коленях перед лампадкой, озаряющей медное распятие и тусклые лики. Иными словами, на том невидимом поле брани между добром и злом, на которое отважится выйти не всякий воин, а лишь силач, богатырь и умелец в ратном деле, которому не страшен огонь Змея Горыныча и свист Соловья-разбойника. Богатырь без коня и доспехов, с крестом на впалой груди, утонувшими в глазных ямах пылающими зрачками, бледным от ночных бдений лицом и головой, склоненной «в предстоянии и молитве», – он-то и творит историю, которая еще не написана нами и вехи которой мы едва различаем в тумане.

Думаю, что и Феодор Козьмич подолгу простаивал на коленях и молился, отводя несчастья и беды от своей многострадальной родины, и его незримое вмешательство прочитывается на многих событиях истории девятнадцатого века. Истории, которая творилась не только в Москве, Петербурге и Царском Селе – на аудиенциях, военных парадах и торжественных официальных молебнах, но и в Таганроге, Красноуфимске, Томске и других местах, где разворачивалась великая и уединенная духовная драма, – драма царя, сменившего скипетр и державу на суму и страннический посох, посвятившего вторую половину жизни исканию истины, а после смерти причисленного к лику святых. Причисленного и канонизированного наравне с прочими русскими святыми и, таким образом, разделившего посмертную судьбу Александра Невского, небесного покровителя Александра Благословенного. Удивительное повторение судеб: благоверный князь и праведный император! Повторение с тою лишь разницей, что уход Александра Благословенного таит в себе еще более жгучую тайну, чем величественное небрежение властью Александра Невского. Поэтому, побывав под Аустерлицем, вписанным в историю деяний Александра, я должен был побывать и там, где совершал свои деяния Феодор Козьмич. Побывать, чтобы соприкоснуться с иной – духовной, – историей, различить ее подземные токи, услышать родниковый шелест, распознать тихое журчанье ключевой воды.

И вот в девяностом году я готовлюсь к экспедиции: листаю старинные журналы и книги за столиком Румянцевской библиотеки, под строгой зеленой лампой, накрывающей шатром желтоватого света и почтенного Шильдера, и великого князя Николая Михайловича, и историка-энтузиаста Михайлова, и «Русский архив», и «Исторический вестник». Листаю, усердно делаю выписки, а затем с «головою, легкой от утомления», иду пешком по бульварам и чувствую себя счастливейшим на свете, оттого что скоро экспедиция, и я готовлюсь, и заветная книжечка пухнет от записей, и уже куплены билеты на поезд. Куплены билеты и подобралась компания: мой краснолицый, вечно хохочущий друг, знакомый драматический писатель с редкой бородкой, немного выющимися волосами, небрежно повязанным галстуком и той рассеянной мечтательностью во взгляде, какая бывает у сельских священников или провинциальных интеллигентов, и миловидная художница с рыжеватой челкой и бусинками цыганских сережек в ушах – оформитель будущей книги.

Компания вполне пристойная, чинная, не в пример той, с которой я путешествовал по Чехии. К тому же все охвачены благородным порывом, стремлением проникнуть в тайну Феодора Козьмича, обнаружив архивный документ, свидетельство, связанный с ним предмет или хотя бы место, где он жил. Я давно убедился в том, что человек как бы намагничивает места своего присутствия, особенно человек выдающийся, редкий, необыкновенный, и даже если, кроме места, ничего не осталось, мы чувствуем этот магнетизм, это напряженное духовное поле. И – происходит соприкосновение, со-общение, мы что-то улавливаем, нам что-то передается: сигнал, ток, импульс. Поэтому хотелось разыскать хотя бы место – на большее я, признаться, не слишком надеялся. Предметы, архивные документы – какое там! Нас разделяет более сотни лет, и не мирных, спокойных, благополучных, отмеченных знаком Ангела, а кровавых, страшных, жестоких, прошедших под знаком Зверя. Место же – застроенная уродливыми, грязно-серыми домами площадка, холмик, овражек, – должно остаться. Должно – и нам хотелось. Мы наметили маршрут, упаковали чемоданы (самый большой оказался у нашей миловидной художницы), отец Геннадий, священник церкви Воскресения Словущаго, что на Успенском вражке (тогда улица Неждановой, а ныне, как и прежде, – Брюсовский переулок), благословил нас перед дорогой, осенил крестом, и мы отправились в Таганрог.

В Таганрог, где все начиналось и откуда с сумой и странническим посохом ушел в неведомое русский император. Ушел, чтобы посвятить вторую половину жизни... а после смерти быть причисленным... И вот думаешь: знал бы Пушкин... Пушкин, написавший свое убийственное: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Знал бы об этом начале: в какой-то воображаемый нами момент Александр, уже переодетый и изменивший внешность, стоит и смотрит *туда*, в некое ночное пространство, где горят звезды, мерцает в облаках луна и едва обозначен в тумане изгиб дороги. И вот он сейчас уйдет: сделает шаг – и канет. Канет, растворится во тьме и больше никогда не увидит своего дома, книг, кресел, письменного прибора. Почему-то в последний момент больше всего жаль мелочей – да, да, письменного прибора с какой-нибудь там замысловатой чернильницей, очиненными гусиными перьями (никогда не писал дважды одним и тем же, всякий раз брал новое, заранее для него приготовленное), душистым порошком, которым посыпали письма... И ему тоже жаль – несмотря на грозное величие минуты. Жаль этого тепла, этого уюта, этой привычной и милой жизни.

Если бы Пушкин об этом знал, он бы понял своего царственного тезку, ведь и сам Пушкин тоже ушел. Ушел, но по-иному – через дуэль и смерть. Его миссия была завершена, поэтому смешно и наивно думать, что дуэль затеяли Геккерен и Дантес. Ее затеял сам Пушкин – как свой уход; встал под пистолет и предоставил судьбе решать, быть или не быть. Но в уход Александра I он, скорее всего, не верил, хотя вокруг поговаривали и слухи до него, конечно, доносились. Поговаривали в окружении декабристов, с которыми Пушкин был близок, но вряд ли он относился к этим разговорам всерьез. «Есть основания предполагать, – говорил кто-нибудь из друзей, придвигаясь к нему вплотную и со значением понижая голос, – что Александр Первый не умер в Таганроге, а ушел неизвестно куда. В гроб же вместо него положили...» «Пустое!» – небрежно отмахивался Александр Сергеевич, и лицо его принимало рассеянно-безучастное выражение, означавшее, что его совершенно не занимает обсуждение подобных сплетен. Одним словом, Александр Павлович так и остался для Александра Сергеевича «слабым и лукавым властителем», который окончил дни в пыльном южном городке! Да, повез туда жену для поправки здоровья и сам неожиданно умер – такая нелепая участь, усмешка судьбы. Простыл на ветру, подхватил какое-то воспаление – и конец!

Именно конец, а не начало: так, скорее всего, осознавал это Пушкин. Если бы не так – вместо четверостишия о «слабом и лукавом властителе» могла родиться драма еще боль-

шего «скорбного закала», чем «Борис Годунов». Но, видимо, какие-то силы удерживали, не позволяли – силы и земные и небесные.

С земными, собственно, все ясно: Николай I, ставший императором в нарушение закона о престолонаследии и помазанный на царство при живом помазаннике. Ему, конечно же, было известно, что его брат лишь разыграл напоказ обществу, инсценировал собственную смерть, и вот он здесь, в Зимнем дворце, правит, а тот в глухом монастыре перед заветной иконкой молится. Поэтому задача Николая заключалась в том, чтобы сберечь, сохранить фамильную тайну. Сохранить любой ценой, а тут Пушкин, чья слава гремит по всей России и чьи стихи твердят наизусть и чиновники, и студенты, и лихие гусары, и провинциальные барышни: конечно же, нельзя допустить... Нельзя – любой ценой, любыми средствами... И вот оценим с этой точки зрения дату – 1837 год. В январе умер Пушкин, а через два месяца в деревне Зерцалы появился старец Феодор Козьмич. Совпадение, к которому мы еще вернемся, рассказывая о путешествии в Петербург и о встрече с человеком, который предложил свое – неожиданное – истолкование загадочных обстоятельств, связанных со смертью Пушкина.

Вернемся, а сейчас обратимся к небесным силам, державшим поэта в неведении о том, что случилось в Таганроге. При этом снова подчеркнем, что Пушкин свою духовную миссию завершал: уже написаны поэмы, маленькие трагедии, сказки, «Евгений Онегин». Уже создан, огранен, отчеканен во всем алмазном блеске русский литературный язык. Уже обозначены темы всей будущей русской литературы – от Гоголя, Тургенева, Достоевского до Ремизова. Император Александр же лишь приступал к выполнению своей духовной миссии – ему предстояло пройти подвижнический путь сибирского старца. Поэтому нельзя было, чтобы Пушкин стал выразителем миссии Александра: в этом случае он придал бы классическое завершение тому, чему еще предстояло развиваться. Придал бы и нарушил некую эзотерическую замкнутость, необходимую для накопления духовной энергии, – глубинное, тайное, сокровенное стало бы явным, и миссия Александра оказалась бы прерванной. Этого же небесные силы, устанавливающие некую метаисторическую согласованность человеческих судеб, допустить не могли. Вот и получилось, что старец вышел из затвора за несколько месяцев до (сентябрь 1836 года), а поселился в Сибири через два месяца после смерти Пушкина. Когда же готовилась дуэль, плелась интрига и для Пушкина уже распахивались небесные двери его будущего ухода, Александр, чья спина была исполосована плетью, вместе со ссыльными шел по этапу. Собственно, они оба шли, но каждый к своей цели, и уход Пушкина делал возможным явление Александра уже как Феодора Козьмича.

И еще один знаменательный факт обратного порядка: будучи в Таганроге, Пушкин останавливался в том самом доме, где через пять лет после этого якобы умер Александр. Так косвенно сблизил их судьба – именно косвенно, а не напрямую, ведь Пушкин не мог предвидеть, а Александр наверняка не знал (что ему Пушкин!). И точно так же через много лет она сблизилась Александра с другим величайшим гением русской словесности – Львом Толстым.

Толстой по материнской линии состоял в родстве с князем П.М. Волконским, генерал-адъютантом Александра, с которым у императора были особо доверительные отношения. Кроме того, существуют указания на то, что молодой Толстой посетил однажды сибирского старца и провел целый день в его келье. Во всяком случае, академик Всеволод Николаев, автор изданной в Сан-Франциско книги «Александр Первый – старец Федор Кузьмич», пишет об этом как об известном факте: «...когда Федор Кузьмич жил на пасеке Латышева, т. е. в конце 50-х годов, старца посетил будущий знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой». Посетил по праву родственника Волконского, но для этого надо было знать, что Феодор Козьмич – это Александр...

Другие исследователи берут на себя смелость отрицать этот факт, и мы не будем вступать в бесплодную полемику, поскольку для нас подобные сближения, и даже сама их возможность, дороже фактов. Поэтому удовлетворимся некоей неясностью в этом вопросе, ведь и повесть Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузмича» осталась незаконченной. Незаконченной – словно кто-то воспретил, не позволил, нашел способ внушить, что лучше оставить повесть незаконченной, отложить перо и спрятать рукопись в стол; но об этом мы поговорим, рассказывая о путешествии в Петербург и встрече с человеком, который и в вопросе о Толстом предложил свое – неожиданное – объяснение...

Глава шестая

Александр и... Александр

(опровержение и версия)

На этом бы и завершить главу, поставить точку, но что-то удерживает, задевает, цепляет, не дает успокоиться. Встаешь из-за стола, кругами ходишь по комнате, убеждаешь себя: ну, что же ты?.. протягиваешь руку... нет, не дается. Так бывает: какая-нибудь мелочь, пустяк, а свербит, и приходится возвращаться к теме и писать новую версию уже законченной главы, споря с самим собой, не соглашаясь, себя же во многом опровергая.

Вот и меня сейчас неотвязно преследует имя: Волконский... Волконский... Толстой состоял с ним в родстве. Пушкин же свою последнюю квартиру на Мойке снимает в доме Волконского – да, того самого Петра Волконского, который входил в ближайшее окружение царя, был с Александром до самой его мнимой смерти в Таганроге. В Таганроге! Вот круг и замкнулся, и два этих дома – дом Волконского на Мойке и путевой дворец в Таганроге – связала таинственная нить. Тогда в Таганроге Пушкин еще не знал, что будет и что после него здесь поселится царь, теперь он знает обо всем, что было. И, глядя на стены своих комнат, воображая облик их прежнего владельца, не может отделаться от мысли о том, что они принадлежали человеку, посвященному в замысел Александра. И главное, он, Пушкин, словно бы судьбою ведом по его следу. Их жизненные круги соприкасаются, перекрывают друг друга, меж ними возникает намагниченное, заряженное поле, и ему передается ток, заставляющий вздрогнуть от внезапной догадки...

Теперь следует опровержение и версия: Пушкин был очень близок к разгадке династической тайны Романовых. Он допускает, что Александр мог совершить то, чего сам Пушкин не мог, – уйти при жизни и таким образом духовно превзойти его, «вознестись выше». Сам Пушкин написал когда-то о своем нерукотворном памятнике: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Ан нет! Так красиво не получалось... Приходилось признать, что не вознесся, а, наоборот, склонился в смирении перед нравственным величием того, чей подвиг ознаменован Александрийским столпом. Потому-то и звучит как покаяние в поздней лирике Пушкина: «Напрасно я бегу к Сионским высотам». Напрасно! Тем не менее стремление не ослабевает, и поэт замышляет побег «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Он мечтает удалиться «в соседство Бога», в «тесные врата». И в этом тоже – отголосок покаяния, только надо его расслышать. И, наконец, он создает стихотворную повесть «Анджело» и пишет стихотворение «Родрик»...

И тут я должен на время прерваться и рассказать об одной книге – рассказать не потому, что это некая редкость, которую я, дитя везения, нашел по библиотечным каталогам и, перебрав в выдвинутом длинном ящике множество карточек, насаженных на металлический прут, заказал в фонде. Нет, она сама меня нашла, неожиданно-негаданно появилась на моем столе, и принес ее незнакомый мне посланец из Петербурга, родины Александра Павловича. Книга называется «Ангел царя Александра» – сборник статей, составленный известным пушкинистом, знатоком девятнадцатого века Элеонорой Сергеевной Лебедевой. В книгу было вложено письмо от нее: «Дорогой Леонид Евгеньевич! Ваше эссе «Усыпальница без праха» за эти 14 лет перечитывала много раз, и каждый раз впечатление только усиливалось. Теперь, когда информационная блокада вокруг имени Александра Благословенного, наконец-то, прорвана, хотелось бы увидеть Ваше произведение отдельной книжкой! Петербуржцы, например, после грандиозной эрмитажной выставки «Сфинкс, не разгаданный до гроба» (2005) вполне готовы воспринять такой текст. Позвольте представить Вам скромный труд – мой и моих авторов «Ангел царя Александра», во многом вдохновленный Вами».

Поясню: в 1991 году журнал «Новый мир» опубликовал мою повесть-эссе «Усыпальница без праха», которая, как я чувствую, оказала некое воздействие на умы. Во всяком случае, меня потом стали приглашать выступить, особенно часто на радио – рассказать о Феодоре Козьмиче; я получал письма от читателей, и однажды мне позвонил Андрей Владимирович Козлов, потомок фельдъегеря Маскова, разбившегося накануне 19 октября и похороненного вместо Александра...

И вот еще один отклик, отзвук, приглушенное эхо той публикации. И пусть даже отклик для меня лестный, я хотя и со смущением, но привожу его потому, что здесь важно совсем другое. Есть единомышленники, есть движение умов, увлеченных одной идеей, а движения умов в России – великая сила, уж мы-то знаем, научены многовековым опытом. И пусть на фоне иных книг о русских царях эта выглядит скромно, издана без помпезных излишеств, без золотого тиснения на корешке, и не разрекламирована на всех углах, она опережает свое время. Так, собственно, всегда и бывает: кто-то опережает, кто-то запаздывает. Иные историки (запаздывающие) все еще ломают копья, наезжают друг на друга, скрестив мечи, до хрипоты спорят об Александре и Феодоре Козьмиче, что-то доказывают, аргументируют, по выражению Даниила Андреева. А спорить-то уже и не надо... а надо приучать сознание читателей к тому, что император стал старцем, – это во-первых, во-вторых же... Ну, хорошо, стал, все согласились и... забыли, все пошло своим чередом? Нет, что-то должно измениться, что-то должно открыться, явиться в преображенном свете, ведь подвиг на то и подвиг, что он преображает.

Вот авторам сборника и открылось в Пушкине, высветилось вдруг потаенное, невыговоренное, зашифрованное.

Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородой
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.

Сны, вообще-то говоря, быстро тускнеют и забываются, но этот – особый, «чудный», не сон, а видение во сне – кого? По предположению одного из авторов сборника, – преподобного Серафима Саровского, с которым поэт встречался в 1830 году, после чего – в 1835-м – он и явился ему во сне. Явился незадолго до смерти и благословил – на крестный путь...

Видоизмененным Пушкин включил этот отрывок в стихотворение «Родрик» и таким образом спрятал, зашифровал его истинный источник. Есть и еще один способ шифровки – даты. Даты, встречающиеся в дневниках, записках, пометках на полях рукописей, поставленные под только что написанным или переписанным набело стихотворением, – они соотносены с православными праздниками, посвященными тому или иному святому, или особенно значительными событиями в жизни поэта. И всякий раз это не случайно, далеко не случайно...

То же самое и рисунки к стихам, таинственные графические и смысловые обертоны, проступающие водяные знаки, казалось бы, давно знакомых строк...

Серафим Саровский, поминаемые церковью святые, в том числе и преподобный Савва Сторожевский, – вот круг мистических переживаний Пушкина, в центре же этого круга – царь, сменивший «златый венец» на «клобук».

В трагедии «Борис Годунов» Пимен говорит Гришке Отрепьеву:

... Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет

Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился;
Они его меняли на клобук...

Таким образом, Пушкин близок к разгадке настолько, что не различишь: он ли ищет ее или она его ищет, кружит над ним, высматривает.

Ну, во-первых, слухи — им можно не верить, с пренебрежением отмахиваться («Пустое!»), пока они не превратились в молву, а молва в России — тем более молва народная, — мистична... И такая молва вокруг имени Феодора Козьмича возникает, ширится, множится, дробится, прячется по углам, журчит ручейками и вновь сливается в единый многоводный поток. Во-вторых, сам Пушкин пытливо ищет встреч со свидетелями Александровской эпохи, приближенными ко двору, к царю, подолгу беседует с ними, подробно расспрашивает, жалеет о сожженных Николаем записках Елизаветы Алексеевны — словом, ведет себя как историограф, унаследовавший это звание от Карамзина. И, в-третьих (хотя это, может, самое главное), Пушкин мистически вчитывается в судьбу Александра, сближенную с его собственной судьбой.

Как мы уже отмечали, в своей поздней лирике он постоянно проигрывает, опробует на себе уход Александра. Уход — как побег:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

А разве не угадывается «самоотреченный» Александр в герое пушкинской поэмы «Анджело», «предобром старом Дуке»:

...докучного вниманья избегая,
С народом не простясь, incognito, один
Пустился странствовать, как древний паладин.

Пушкин говорил Нащокину: «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не писал». Вряд ли собеседник его до конца понял, распознал глубинный смысл сказанного. Наверняка подумал, что для любого автора его последнее произведение всегда самое лучшее. Да и обращается-то Пушкин не столько к Нащокину, сколько к самому себе, своим потаенным мыслям, тому, что он о себе знает: «...ничего лучше я не писал». И в самом деле, Пушкин показывает, раскрывает в повести не столько привычное для девятнадцатого века бремя страстей, сколько обнажает психологический конфликт, своей заостренностью, взвихренностью, взвинченностью предсказывающий Достоевского. Собственно, Анджело — это подлинный герой Достоевского, так же как и Клавдио, и Изабела. Анджело, влюбившись в монахиню — сестру, пришедшую просить за брата, настойчиво домогается ее любви, требует, чтобы она ему отдалась. Клавдио, страшась смерти, готов толкнуть сестру на этот гибельный шаг. Достоевский!

Но Пушкин знает о себе и другое: повесть лучше — в смысле чище, совестливее; повесть «Анджело» — искупление его вины перед Александром, на которого он писал желчные и едкие эпиграммы. Писал, «с толпою чувства разделяя», а вот теперь покался...

Покаялся хотя бы тем, что назвал Дука (Александра) предобрим. Хорошо известно, что каждое слово у Пушкина предельно значимо, строго выверено по смыслу, и это слово

выбрано не случайно. Оно прямо отсылает нас к лексике православного обихода, где Иисус именуется пречудным, пресильным, прелюбимым, Богородица – пренепорочной, пречистой, превосходящей всех своей чистотой, а святые – преподобными. О том, что Александра во времена его царствования называли добрым, кротким, преисполненным любви и сострадания, свидетельствуют многие источники, записки и воспоминания современников. Но Пушкин называет его предобрым и таким образом придает религиозный статус его новому состоянию (после царствования), ставит свершения Александра выше обычных земных свершений, возводит его в чин святости.

Но, что самое поразительное, в повести «Анджело» содержится даже намек на то, что вместо Александра в гроб был положен другой. Этот другой появляется в короткой и этим как бы выделенной пятой главе третьей части:

Замыслив новую затею, Дук представил
Начальнику тюрьмы свой перстень и печать
И казнь остановил, а к Анджело отправил
Другую голову, велев обрить и снять
Ее с широких плеч разбойника морского,
Горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме...

Поистине эта сцена заставляет невольно вздрогнуть (мороз по коже!), словно проступившая сквозь слой краски древняя тайнопись, словно библейское «мене, текел, упарсин» на пиру Валтасара. Нет, все-таки знал Пушкин... Знал и сумел высказать, через голову современников обращаясь к потомкам.

Точно так же и герой стихотворения о Родрике («На Испанию родную...»), созданного на основе испанских романсеро, поэмы Роберта Саути «Родрик, последний из Готов» и народной легенды о короле Родриго, «венец утратил царский», покинул поле боя и, как древний отшельник, уединился в пещере. Предав земле обнаруженные там мощи прежнего обитателя – древнего отшельника, он решил продолжить его подвиг. Отныне вся жизнь Родрика посвящена молитвам, суровому посту, борьбе с искушениями:

Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.

Но в пещере Родрика искушает лукавый, шлет ему прельстительные сны, оставляющие наутро чувство раскаяния и стыда. Родрик изнемогает в этой борьбе. Тогда-то и является ему древний отшельник:

В сновиденьи благодатном
Он явился королю,
Белой ризою одеян
И сияньем окружен.

Он возвещает ему волю Всевышнего: покинуть пещеру и, вновь вооружась мечом, продолжить борьбу с врагами. Заканчивается стихотворение знаменательной строкой-метафорой:

В путь отправился король.

Что особенно сближает Родрика с Александром? Допустим, Пушкин не мог иметь достоверных сведений о том, где вершит свой молитвенный подвиг Александр, в какой из монастырей он удалился, поэтому отшельническая пещера в стихотворении – условная аллегория. Но одно он знал точно, помнил по временам лицейской юности: негодующий ропот, враждебное отношение к царю после захвата Москвы Наполеоном.

Стариков и бедных женщин
На распутьях видит он;
Все толпой бегут от мавров
К укрепленным городам.

Все, рыдая, молят Бога
О спасении христиан;
Все Родрика проклинают;
И проклятья слышит он.

И с поникшею главою
Мимо их пройти спешит,
И не смеет даже молвить:
Помолитесь за него.

Элеонора Лебедева сопоставляет этот отрывок из «Родрика» с письмом сестры императора Екатерины Павловны: «Мне невозможно более удерживаться, несмотря на боль, которую я должна Вам причинить. Взятие Москвы довело до крайности раздражение умов. Недовольство дошло до высшей точки, и Вашу особу далеко не щадят. Если это уже до меня доходит, то судите об остальном. Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем Вашу империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что Вы погубили честь страны и Вашу личную честь. И не один какой-либо класс, но все классы объединяются в обвинениях против Вас. Не входя уже в то, что говорится о том роде войны, которую мы ведем, один из главных пунктов обвинений против Вас – это нарушение Вами слова, <... > данного Москве, которая Вас ждала с крайним нетерпением, и то, что Вы ее бросили. Это имеет такой вид, что Вы ее предали».

Да, герой «Родрика» – так же, как и герой «Анджело», – списан Пушкиным с Александра, в чьем облике им уже угадан Феодор Козьмич.

Петербургской исследовательнице Л.А. Краваль, одному из авторов сборника «Ангел царя Александра», удалось расшифровать рисунок Пушкина под автографом стихотворения «Не розу пафосскую», посвященного императрице Елизавете Алексеевне, супруге императора Александра: «Профиль в. кн. Константина Павловича, причудливо соединенный с чертами другого человека... В верхней части этой головы, возле виска, нарисован портрет старца с клинообразной бородкой и нимбом над головой, а в нимбе начертано: «ал I» (а – маленькая, а единичка скользит вниз, как выпавший из рук скипетр). Это значит, до Пушкина дошел слух (или это было предвидение, пророчество), что таковым старцем стал (или станет) император Александр I».

Добавить нечего!

Глава седьмая

Снег ее лица

На этот раз, кажется, глава закончена и точка поставлена. Пушкин не знал и Пушкин – знал об уходе Александра. Это знание он скрыл от современников и передал нам, потомкам, написав «Анджело» и «Родрика» и тем самым приоткрыв завесу над тайной. Что ж, решение найдено, – можно двигаться дальше? Пожалуй, да, но снова что-то удерживает – тень смутного беспокойства, тревоги, маеты, истомы: уйдешь – потеряешь, а вернешься чуть позже – уже не найдешь. Итак, этот рисунок... рисунок старца... но ведь стихотворение посвящено Елизавете Алексеевне. Таким образом, рука Пушкина сближает старца и императрицу: он пишет о ней, а рисует его. Собственно, стихотворение осталось незаконченным, и рисунок – его продолжение. Перестал писать, и рука машинально рисует то, о чем продолжает думать. Значит, думает об императрице и старце, общности их судеб. Писать об этом нельзя, но думать можно, доверяя свои мысли рисунку, прихотливым росчеркам вольного пера.

Исходя из этого, спросим: проник ли он в ее тайну? Никаких прямых доказательство этому нет, никаких твердо установленных фактов, документальных подтверждений – лишь косвенные сближения. И все-таки – вне всяких доказательств – проник: берусь утверждать. Утверждать не как историк, а как сентиментальный созерцатель, искатель подобных сближений. Не может не знать о судьбе императрицы, потому что Пушкин – любит. Мучительно, страстно, несбыточно, потаенно любит Елизавету Алексеевну. Любит еще с лицейских лет и всю жизнь, и эта любовь затмевает все остальное, иные увлечения и страстные привязанности, иных возлюбленных и даже холодную и ослепительную красавицу жену, принесшую ему смерть. Смерть, которую он искал как свой собственный уход. К кому? К ней, единственной возлюбленной.

Впрочем, в сказанном слишком много пафоса, может быть, естественного и даже необходимого, но все-таки хочется выразиться и несколько иначе, суше и строже. Такая любовь, как любовь Пушкина к императрице, не могла не проникнуть сквозь внешний покров событий 1825 и 1826 годов и не распознать то, что на самом деле произошло в Таганроге. Любовь усиливает, обостряет проницательность, внушает самые неожиданные прозрения и догадки: психологически это так. И если Пушкин прочел судьбу Александра, он не мог не прочесть судьбу Елизаветы, ведь одно без другого немыслимо: у императора и императрицы общая судьба, таинственными узами связанная с судьбой самого поэта...

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Из этих мгновений – мгновений явления ему Елизаветы Алексеевны – соткана вся жизнь Пушкина. Он встречал ее в Царском Селе во время посещений Лицея, и торжественных, по какому-нибудь особому случаю, празднику, годовщине, и будничных, когда она просто поднималась по лестнице, проходила по коридору, одетая скромно, почти по-домашнему, окруженная небольшой свитой. А он во все глаза смотрел на нее из толпы лицеистов, дичась, робея, не смея приблизиться.

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величаясь жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственных порфирных скал...

Встречал во время прогулок в парке, издали ловил звук ее голоса, негромкий мелодичный смех, шорох платья, столбенел, обмирал, убегал прочь, бесился, сжимал кулаки и мечтал лишь о том, чтобы снова увидеть и услышать.

Наконец она могла просто мелькнуть, показаться в окне: «Я прошла уже часть парка, когда в окне первого этажа заметила вдруг молодую особу, примерно семнадцати лет, поливающую гвоздики. У нее были тонкие правильные черты и прекрасный овал лица, краски которого были хороши, но недостаточно яркие, однако бледность при этом отлично гармонировала с ангельски кротким выражением глаз. Ее золотисто-пепельные волосы ниспадали на шею и лоб, одета она была в белую тунику, которую перехватывал пояс, свободно повязанный вокруг тонкой и гибкой, как у нимфы, талии. Прелестная девушка так восхитительно смотрелась в глубине комнаты, украшенной колоннадой и обитой розовым и серебряным газом, что я воскликнула: «Психея!» Это была великая княгиня Елизавета, жена Александра».

Так пишет в воспоминаниях французская художница Виже Лебрен, приглашенная ко двору Екатериной, чтобы написать несколько портретов, в том числе и портрет Елизаветы Алексеевны. Это она, проходя по парку, заметила... Но ведь и Пушкин мог так же... Конечно, тогда Елизавета была уже старше, но все равно оставалась кротким ангелом, нимфой в белой тунике, Психеей, перед которой он благоговел. Благоговел и при этом наверняка ненавидел себя за то, что был, по его мнению, некрасив, даже уродлив (он смугл, а она так бела!) и поэтому недостойн даже находиться рядом с таким неземным совершенством. Но Елизавета благосклонным, поощрительным жестом давала понять, что не отвергает и даже выделяет его среди прочих влюбленных в нее лицеистов (а все они были влюблены). Выделяет потому, что он поэт, лучший из всех, он слагает такие звучные, пленительные стихи. И она умеет это

оценить, у нее тонкий вкус, она разбирается в искусствах, и ее чувствительная душа ищет в них утешения от многих жизненных скорбей.

Поэтому у Елизаветы с Пушкиным даже складываются некие отношения: он втайне поет ее, наделяет своих героинь ее чертами, в том числе и Людмилу, а Елизавета посылает ему знаки благодарности, навещает во время болезни и заступается за него, если ему, шалуну, озорнику и смутьяну, грозит серьезная опасность (ссылка в Сибирь!). Эти отношения не прерываются на протяжении всей его бурной жизни до 1825 года.

Стихотворение же «В начале жизни школу помню я» написано в 1830 году, когда императрица уже стала монахиней, затворилась в келье монастыря, и в сознании Пушкина соединились, слились два ее облика: «Над школою надзор хранила строго» – Елизавета Алексеевна, «Смиренная, одетая убого» – Вера Молчальница. Поэтому очи ее светлы, как небеса, и слова полны святыни («И полные святыни словеса») – святыни непрестанных молитв. Тем-то и удивительно это стихотворение, что в нем Пушкин по ступеням времени, словно Вергилий Данте (стихотворение написано терцинами), сводит Веру Молчальницу в прошлое, в свои лицейские годы, и она приобретает черты будущей Судьбы императрицы.

Есть основания предполагать, что Пушкин встречался с Елизаветой Алексеевной во время ее последнего путешествия в Таганрог, к той черте, которая отделяет императрицу от инокини, монастырской затворницы Веры Молчальницы...

Да, так в целом можно истолковать находки, открытия, предположения, накопленные за последнее время исследователями, в том числе и авторами столь счастливо нашедшего меня сборника «Ангел царя Александра». Еще раз повторим: Пушкин пронес свою любовь через всю жизнь...

Мечта! В волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви,
И блеск очей небесный,
Лиющих огонь в сердца,
И граций стан прелестный,
И снег ее лица.

Считают, что это стихотворение посвящено именно ей, императрице, а не Бакуниной, с чьим именем традиция привычно связывает лицейские элегии Пушкина. Бакунина смугла, а в лице Елизаветы пленяла и очаровывала отмечаемая всеми, в том числе и Виже Лебрен, удивительная белизна, позволившая Пушкину написать: «И снег ее лица».

В журнале «Соревнователь Просвещения и Благотворения» за 1819 год напечатано стихотворение Пушкина «Ответ на вызов написать стихи в честь Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Елизаветы Алексеевны»:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.

Природу лишь учась славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден Царей забавить
Стыдливой Музою моей.

Но признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновленный Аполлоном,
Елизавету втайне пел.

Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне Добродетель
С ее приветною красой.

Любовь и тайная Свобода
Внушали сердцу гимн простой.
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Поясним: народа, в 1813 году с любовью провожавшего императрицу в действующую армию, к мужу, освобождавшему Европу от Наполеона.

Сохранились черновые наброски к строкам 14–16: «С ее приветною красой, любовь, красой, прелесть, со взором благодати небес, с улыбкой ангела, с улыбкой мира и любви, с неувядаемой красой, смелая, гордая, верная». Здесь так же, как и в рисунке к стихотворению «Не розу пафосскую» рука Пушкина, выводящая на бумаге эти слова, сама находит связь: Елизавета – верная – Вера.

Вера Молчальница!

Рука словно бы знает, как знает каменный Петербург, тайну Елизаветы Алексеевны: после мнимой смерти императора и императрицы у Египетского моста устанавливаются фигуры сфинксов работы Соколова, в чьих ликах явно угадываются ее величавые и спокойные черты. И еще более поразительный факт: рядом с тремя аллегорическими скульптурами того же Соколова в нишах Сената и Синода (Богословие, Духовное просвещение и Благочестие), установленными в 1832 году, стоит статуя скульптора Устинова – Вера в монашеском облачении.

Вера Молчальница!

Глава восьмая

Путевой дворец

Однако вернемся к нашему путешествию.

День в поезде промелькнул быстро, за чаем и неспешными разговорами, и вот мы в Таганроге – ждем троллейбуса на привокзальной площади, чтобы добраться до гостиницы. В руках сумки и чемоданы, в карманах блокноты и записные книжки: достопочтенная экспедиция! День пасмурный, небо облачное, низкое, белесое, с голубыми просветами; ветрено. И рядом с нами ждет толпа таких же, как мы, приезжих – с сумками, огромными чемоданами, тюками и корзинами, накрытыми марлей. И города, собственно, еще нет, виден только вокзал. Вокзал, пыльная площадь, ларьки, палатки – одним словом, то, что вселяет в приезжих некую необъяснимую и непередаваемую тоску, смешанную с экзистенциальным сомнением в собственном бытии. Тоску, вызывающую недоуменный вопрос: зачем я здесь и я ли это?! Город же, подтверждающий факт вашего бытия и содержащий в себе ответ на вопрос «зачем?», словно бы отделен от вас невидимой стеной и отодвинут в неопределенное будущее, роковым и неотвратимым образом связанное с прибытием душевного, скрипучего, неуклюжего южного троллейбуса, в который вас внесет наседающая толпа...

Так встретил нас Таганрог, представший в своем привокзально-палаточном обличье, и в то же время первым, сразу обозначившимся во мне чувством было: здесь! Именно здесь случилось то, что вот уже более полутора веков гипнотически воздействует на умы, вызывая столько домыслов, предположений, догадок, гипотез: император-то вовсе не умер, а в гроб вместо него... Именно, именно – странно подумать, и эта странность объясняется, конечно же, не свойствами самого места, какими бы причудливыми они ни были, а неким сближением, таинственной связью: здесь, рядом с вами. Всего лишь несколько дней назад вы находились непростительно близко от дома, на беспечном отдалении от этих мест и вдруг оказались рядом... рядом настолько, что само место приобрело значение неустранимой жизненной данности: вы теперь здесь пре-бываете, можно даже сказать, живете.

«Таганрог – уездный город на берегу Азовского моря; на западе – Миусский лиман, на востоке – Донецкое гирло. Город – на мысу, с трех сторон – море, и в конце почти каждой улицы оно голубеет, зеленеет, как стекло бутылки, мутно-пыльное.

Невеселый городишко: пустыри-площади, товарные склады, пакгаузы и рассыпанные, как шашечки, низенькие, точно приплюснутые, домики с облупленной штукатуркой и вечно закрытыми ставнями; а кругом степь – тридцать лет скачи, никуда не доскачешь».

Так описан в романе Мережковского «Александр I» тот, прежний Таганрог, но почти такой же и Таганрог нынешний, только разросся во все стороны, и дома стали выше, заслоняют, скрывают, прячут от глаз море...

Мы наскоро устроились в гостинице, оставили в номерах вещи и, охваченные нетерпеливой горячкой, устремились в город. Во-первых, нам нужен был центр, историческая часть города со старинной застройкой, церквями, особняками, а во-вторых, краеведческий музей, – а где же еще искать сведения о пребывавшем здесь императоре, как не в милом, добром, патриархальном краеведческом! Да, в краеведческом музее с фамильными портретами в тяжелых золоченых рамах, диванами и креслами, обитыми полосатым тиком, коврами и дорожками, устилающими дубовый паркет, висящими на стенах чубуками и кальянами и выставленными в витринах фарфоровыми сервизами, цветочницами в кринолинах и китайскими болванчиками. Одним словом, что-нибудь да найдется, и, вскочив на ходу в первый случайно подвернувшийся трамвай (не ждать же целый час следующего), мы по

обычаю всех приезжих стали допытываться, расспрашивать, как доехать до краеведческого. Доехать-то просто, ответили нам, да вся беда в том, что закрыт ваш краеведческий. Давным-давно закрыт на ремонт, и неизвестно, когда откроется.

Признаться, мы приуныли, услышав такой ответ, и потянуло на нас сиротским холодком невезения. Холодком, от которого особенно зябко в чужом городе. Трамвай же ходко бежал по рельсам, безучастный к нашему унынию, и тут мы увидели из окон другой музей, о котором вовсе и не помышляли, – градостроительства и архитектуры. Другой – и тоже безучастный к нашим устремлениям, как бегущий по рельсам трамвай; ну что там может быть связано с Александром! Он же тут не градостроительством занимался, а переживал духовную драму – драму самоотречения! Вырывался из пут! Но день клонился к вечеру, деваться было некуда, и мы решили на всякий случай зайти. Зайти и спросить – а вдруг? Не повезло с одним музеем – повезет с другим: фортуна особа капризная и изменчивая. И какой-нибудь дремлющий в кресле старичок-смотритель или сторож со связкой ключей, глядишь, посоветует, подскажет, наведет на след – бывает...

И мы зашли: здравствуйте... мы такие-то и такие-то... хотели бы узнать... Александр I... в Таганроге... какие-то вещи... И вдруг – я могу поручиться! – комнату озарило неким нездешним сиянием (отблески его легли на наши лица), и нам ответили: да, да, сохранились подлинные вещи Александра I из его путевого дворца. Вот, пожалуйста, они выставлены в соседнем зале нашего музея. Слово бы вас-то и дожидаются.

Мы бросились в соседний зал: неужели?! Подлинные... из путевого дворца?! И действительно, на музейных подиумах стояли замечательные, старинные, распространяющие вокруг себя некую благоуханную ауру, создающие атмосферу изящества, благородства и тонкого вкуса, я бы даже сказал звучащие, музыкально согласованные друг с другом, насколько способны звучать в едином строе, вещи: лаковый овальный столик на выгнутых ножках, кресло с украшенными резьбой подлокотниками, секретер с откинутой крышкой, голубая ваза, подсвечники и прочие мелкие предметы, настольные безделушки. Мелкие, но ведь каким-то образом уцелели, не сгнули, и вот они теперь передо мной. Признаться, меня охватил зябкий, недоверчивый восторг: вещи Александра! Те самые, которые он брал в руки, – вот они... И я тоже могу прикоснуться! Воспользоваться тем, что в зале нет зрителя, и прикоснуться, потрогать, погладить рукой – подлинные... Потрогать и ощутить его касание – с той, запредельной, зазеркальной стороны. Я протягиваю руку, и с той стороны – он. Протягиваю, и подушечки наших пальцев...

Одним словом, вещи в моем сознании приобрели образ человека, и из воздуха – тончайших эфирных нитей – соткалось, возникло, обозначилось: тонкие выпуклые губы, чуть затуманенный взгляд красивых голубых глаз...

Впрочем, здесь он был уже не тот, что под Аустерлицем, – гораздо старше, ближе к портрету, написанному Мережковским (таким его видит дочь Софья): «Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий, раздвоенный подбородок, и гладкий, плешивый лоб с остатками белокурых, выющихся волос, начесанных кверху; и между нависшими бровями морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклоненные вперед; и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками».

Да, портрет замечательный (как и весь роман в целом), скульптурно вылепленный, проработанный, описание очень точное. Но в выражении лица Александра и тогда оставалась эта немецкая мечтательность, шиллеровская сентиментальность и нечто неуловимо женственное, безвольное, ускользающе-скрытое, заставившее Пушкина сказать: «...слабый

и лукавый...» Все-таки лукавый, хотя Мережковский это как будто отрицает («улыбка не лукавая», но ведь это – глазами дочери!). Пушкин, конечно, угадал, хотя и выразил свою догадку в форме беспощадной эпиграммы. Если же снять иронию и довериться психологии – действительно слабый и лукавый... Можно даже добавить: двойственный, вечно сомневающийся в себе и других, недоверчивый – целый набор черт, свидетельствующих не о достоинствах или недостатках, а о сложности душевного устройства. И эти вещи – тоже часть портрета. Прихотливо разбросанные в пространстве, они доносят нечто невыразимо александровское, свойственное только ему, его непередаваемой самости: овальный столик – могучую стать высокой фигуры; подлокотники кресла – напряжение сильных ладоней, накрывающих резных крылатых львов; подсвечники – очертания склоненной в задумчивости головы.

Но главное – чернильный прибор, который я пытался представить, рисуя в воображении картину: ночь... звезды... холод неизвестности... Александр уходит, и ему жаль расставаться с дорогими сердцу вещами, в которых заключено тепло привычной жизни. Пытался представить, и вот он – есть... Чернильный прибор с его письменного стола, – фарфоровый, затейливого вида, явно из тех вещей, к которым привыкают, привязываются, особенно такие люди, как Александр, со свойственным ему культом письменных принадлежностей, любви к очиненным перьям. И так получается, что я как бы вызвал из небытия, усилием воли материализовал этот чернильный прибор: сначала подумал, а затем – увидел. Увидел и словно бы узнал: тот самый... Это чувство узнавания распространилось и на другие вещи, существовавшие независимо от моего воображения, но словно бы знакомые мне потому, что я о них либо читал, либо слышал. И подсвечники – шевельнулась догадка, – те же... Не в них ли стояли свечи, которые Александр однажды зажег во время дождя, а затем забыл потушить, и слуга сказал ему: нехорошо, мол, дурное предзнаменование, свечи днем только над покойником горят. Сказал, и царю запомнилось: «Эти свечи у меня из головы не выходят».

Таковыми же знакомыми показались мне и вещи императрицы Елизаветы Алексеевны: столик для рукоделия, коврик с надписью «То свято место, где ты молилась», зеркало, часы. Конечно, не те, любимые Елизаветой с детства, подарок матери – фарфоровой пастушок со сломанной ручкой (о них упоминает Мережковский), но тоже принадлежавшие ей. Показались знакомыми потому, что я столько прочел и могу представить, как она шурилась на свет, вдевая нитку в иголку, как протыкала иголкой туго натянутый шелк, прогоняя по нему стежки разноцветной вышивки, как опускалась на колени перед иконой и рассеянно крестилась, откидывая пряди волос со лба, как азартно подсаживалась к зеркалу, стараясь смотреть на себя так, чтобы не замечать своего же ответного взгляда, как нехотя догоняла и нетерпеливо опережала взглядом золоченые стрелки, вздыхая о том, что слишком уж быстро летит, и сетуя, до чего же медленно тянется упрямое время. Могу представить, словно все эти жесты, взгляды, сетования и вздохи запечатлелись в вещах, из которых складывается некий предметный портрет их хозяйки.

Портрет, в чем-то неуловимо совпадающий с описаниями современников. «Трудно передать всю прелесть Императрицы: черты лица ее чрезвычайно тонки и правильны, греческий профиль, большие голубые глаза, правильное овальное очертание лица и волосы прелестнейшего белокурого цвета. Фигура изящна и величественна, а походка чисто воздушная. Словом, Императрица, кажется, одна из самых красивых женщин в мире. Характер ее должен соответствовать этой прелестной наружности. По общему отзыву, она обладает весьма ровным и кротким характером» (секретарь саксонского посланника Н. Розенцвейг).

Характер должен соответствовать наружности (прав посланник Розенцвейг!), а наружность – вещам...

Итак, нашим первым открытием было то, что сохранились вещи из путевого дворца, – а сам дворец? Вернее, одноэтажный каменный дом, названный дворцом лишь потому, что

там останавливался император? Он-то сохранился? Пощадило ли его окаянное время, прокатившееся кровавым колесом по старинным особнякам и усадьбам? Признаться, надежда была слабенькая, и я заранее готовил себе утешение: ладно, не дом, так место. Попытаемся разыскать хотя бы место, где стоял путевой дворец, а остальное восстановит воображение: окна, стены, крышу и все прочее. Воображение же у нас – замена счастию: да, да, не привычка, а – воображение...

И вот я спрашиваю у сотрудников музея: где? Совсем неподалеку, отвечают, в двух шагах, и не просто место, а тот самый дом, сохранившийся, уцелевший и даже ни разу не перестраивавшийся, – вот уж действительно чудо! Правда, внутри все изменилось, поскольку там сейчас детский противотуберкулезный санаторий, но чего же вы хотели! Это уж было бы слишком, чтобы остались в первозданном виде покои императора и императрицы, столовая, гостиная и прочие комнаты. Слишком, знаете ли, слишком, этого и желать нельзя!

Поэтому мы торопливо распрощались, напоследок еще раз оглядели музейные залы и отправились на улицу III Интернационала, где и находился царский дворец. Дворец Александра и Елизаветы Алексеевны – где ж ему еще находиться как не на улице с таким названием! Интернационал! Хотя, смотря что в это вкладывать: может быть, Александр и не был бы против. Он ведь тоже стремился нации объединить, правда, на христианских началах...

Отправились мы всей нашей дружной компанией: впереди мой краснолицый, вечно хохочущий друг с миловидной художницей, а сзади мы со знакомым драматическим писателем. Отправились, и наконец вот он перед нами, этот дом. «Дом с красивым благородным фасадом, двумя слабо обозначенными выступами-ризалитами, замками над высокими окнами и карнизом, украшенным сухариками», – записал я наскоро, по первому впечатлению в книжечке и теперь привожу не исправляя, как есть. Дом, где якобы умер... но на самом деле не умер, а ушел в никуда... одним словом, именно здесь все и происходило, здесь свершалась эта драма.

Именно, именно – представьте себе! – здесь, но только в другое время, когда вас еще не было, и вот теперь время прошло, а вы появились. Появились и пытаетесь внушить себе, что место важнее времени и невозможность оказаться в том загадочном пространстве, которое мы именуем *тогда*, оправдана вашим пребыванием *здесь*. Оправдана, и поэтому вы – свидетель тех событий, которые происходили в этом доме. Свидетель и очевидец, а как же иначе, – ведь вы же видите и дом, и окна, и украшенный сухариками карниз! Видите и стараетесь связать некоей воображаемой нитью, мысленно сблизить это с тем, что именно сюда 13 сентября 1825 года в сопровождении бывалого, испытанного служаки генерал-адъютанта Дибича и мудрого, опытного, осмотрительного лейб-медика баронета Виллие прибыл Александр – усталый, осунувшийся, в запыленном дорожном платье. Обошел чисто убранные комнаты, стуча каблуками лакированных ботфорт по паркету, распахивая перед собой высокие белые двери, откидывая тяжелые портьеры на окнах и пробуя косточками сжатых в кулак пальцев тугую упругость диванов. Постоял у окна, глядя на теплое, солнечное, золотисто-янтарное море, изгиб залива, паруса рыбаков. Задумался о том, о чем обычно думает человек на новом месте, – впрочем, не таком уж новом, поскольку он бывал здесь и раньше и ему запомнилось: тихий, скучный, уютный, глухой уголок. Лучше и не найдешь, чтобы осуществилось *это*...

Но решился ли он, переступил ли ту последнюю черту, которая отделяла его от такой милой, привычной и ненавистой ему жизни? В те дни, пожалуй, еще нет: знал, что когда-нибудь, но – когда? Завтра, через месяц, через полгода? Это должен был решить случай, и случай же должен был подсказать – как. Ему же оставалось только не торопить события и ждать, и вот 15 сентября он пишет Аракчееву: «Здесь мое помещение мне нравится. Воздух прекрасный, вид на море, жилье довольно хорошее; впрочем, надеюсь, что сам увидишь».

Иными словами, устраивается на долгий срок и еще приглашает гостей, – значит, время еще не настало. Александр здоров, бодр и деятелен. Сам распаковывает ящики с посудой, достает хрусталь и фарфор и забивает гвозди для зеркал и картин, – любимых картин Елизаветы Алексеевны...

10 октября он едет в Область войска Донского и посещает Новочеркасск, станицу Аксайскую и Нахичевань, а 20 октября вместе с генералом Дибичем направляется в Крым. С Дибичем и – на этот раз – без Виллие, поскольку нет никакой необходимости иметь с собой врача. Повторяем, он здоров, бодр и деятелен настолько, что во время крымского путешествия покупает Ореанду, которая понравилась ему своими пальмами, кипарисами и видом на море. Покупает, признавшись Дибичу, что намерен построить здесь для себя дворец и разбить великолепный – с образцами пышной южной растительности, – парк. «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить в Ореанде как частное лицо... Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок позволят выйти в отставку», – говорит он, хотя при этом у него в бумагах хранится подробный церемониал погребения императрицы Екатерины II. Зачем он ему, если он собирается жить в Ореанде как частное лицо? Жить и не умирать. А может быть, все-таки... если не умирать, так разыграть, как он в детстве разыгрывал пьесы, принимал позы перед своей бабушкой Екатериной, инсценировать собственную смерть и похороны в согласии со строгим официальным церемониалом?! Инсценировать – и, испытав странное, одновременно и влекущее и отталкивающее чувство присутствия на собственных похоронах (лицезрения себя в гробу), уйти, исчезнуть, кануть.

Разговоры же о скором переселении в Крым и выходе в отставку – это для Дибича. Для Дибича и тех, кто в эту минуту мог находиться рядом и слышать слова императора. Пусть они думают, что он просто устал, – как солдат, отслуживший двадцать пять лет. Устал и мечтает об отдыхе, покое, безмятежной старости – это им понятно. А что действительно происходит у него в душе – одному Богу ведомо. Богу и тому человеку, у которого он побывал по дороге в Таганрог и с которым долго беседовал наедине, при свечах и мигающем свете лампад, – преподобному Серафиму Саровскому. Побывал – возможно или наверняка?

Иные историки отрицают этот факт, ссылаясь на то, что преподобный Серафим, мол, еще не вышел из затвора и к тому же был не в ладах с тогдашним настоятелем. Но саровские предания хранят память о посещении Александра, – хранят, берегут, лелеют: значит, все-таки было... И Феодор Козьмич с Серафимом явно связан духовно: тому есть немало подтверждений, на которые обращают внимание исследователи. Серафим, к примеру, говорил, что православие – большой, оснащенный корабль, а разные секты, в том числе и старообрядческие, – это лодки, которые не тонут лишь потому, что крепко к нему привязаны. И Феодор Козьмич выражал эту мысль теми же словами: корабль... лодки... по Серафиму. Кроме того, в деревне Зерцалы вместе с Феодором Козьмичом жил благодатный старец Даниил, пребывавший в постоянном молитвенном общении с Серафимом Саровским. Когда томская мещанка Мария Иконникова попросила у старца Даниила благословения на то, чтобы странствовать с котомкой по России, тот ей сурово отказал, велел сидеть дома и чулки вязать, но она не послушалась и самочинно – этакой паломницей, руки в боки – отправилась в Саров. И преподобный Серафим ее строго отчитал: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой!...»

Вот оно как: брат Даниил... Значит, не мог не знать и о брате Феодоре. Поэтому беседовал с ним Александр по дороге в Таганрог – наверняка беседовал. Наедине, без посторонних, с глазу на глаз, а глаза у Серафима были удивительные, по-детски ясные, жгуче-прозрачные, проникающие в самую душу, – глаза святого человека. Что ему сказал Александр, приняв благословение, и что он ответил Александру, коснувшись его головы легкой сухой ладошкой и трижды перекрестив во имя Отца, Сына и Святого Духа, навеки останется для

нас тайной. Тайной, которую мы не откроем, и загадкой, которую не разгадаем, сколько бы ни сидели в архивах и библиотеках. Не откроем, не разгадаем, – и все-таки что?

Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.

И еще вспоминается из Пушкина:

В путь отправился король...

Глава девятая

Убийство Павла

«Едва императрица Мария Федоровна вошла в опочивальню и увидела тело супруга, громкий вопль излетел из груди ее.

Шталмейстер Муханов и доктор Роджерсон поддержали Марию Федоровну. Великие княжны тихо плакали.

С минуту все стояли неподвижно. Страшная тишина была вокруг мертвеца.

Тогда императрица стала приближаться к телу. Колени ее медленно сгибались, и она поникла, целуя маленькую, изящную, уже пожелтевшую, восковую руку императора.

– Ах, друг мой, – могла она только промолвить.

Вдруг загрохотали барабаны караула, стоявшего с другой стороны опочивальни.

Вошли Александр и Елизавета, сопровождаемые графом Паленом и князем Платоном Зубовым.

Златокудрый, юный Александр, несмотря на всю скорбь свою, проехавшись в Зимний дворец и обратно, овеянный весенним дыханием солнечного, прелестного утра, получив уже множество знаков беспредельного обожания со стороны государственных чинов, гвардии и толпившегося на улицах радостного народа, входя в опочивальню, внес с собою струю жизни и отражение блеска ее на нежных алых устах и чуть опущенных ланитах и на прекрасных очах своих.

Но когда он впервые увидел изуродованное лицо своего отца, с надвинутым на проломленный висок и зашибленный глаз краем шляпы, покрашенное и подмазанное и все же, несмотря на гримировку, обнаруживавшее ужасные синие кровоподтеки, тогда юноша впервые ясно понял и представил себе, что произошло с несчастным родителем его. Пораженный, немой, побелев, как полотно, неподвижно остановился он, вперив широко раскрытый, полный ужаса взор на страшные останки самодержца.

Императрица-мать на шум обернулась к входящим.

Несколько мгновений она переводила взор с сына на мертвого мужа и обратно. Затем, отступив от тела, она сказала сыну негромко, но отчетливо, с выражением глубочайшего горя и совершенного достоинства:

– Теперь вас поздравляю: вы император.

При этих словах император Александр как сноп рухнул во весь рост без чувств.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.